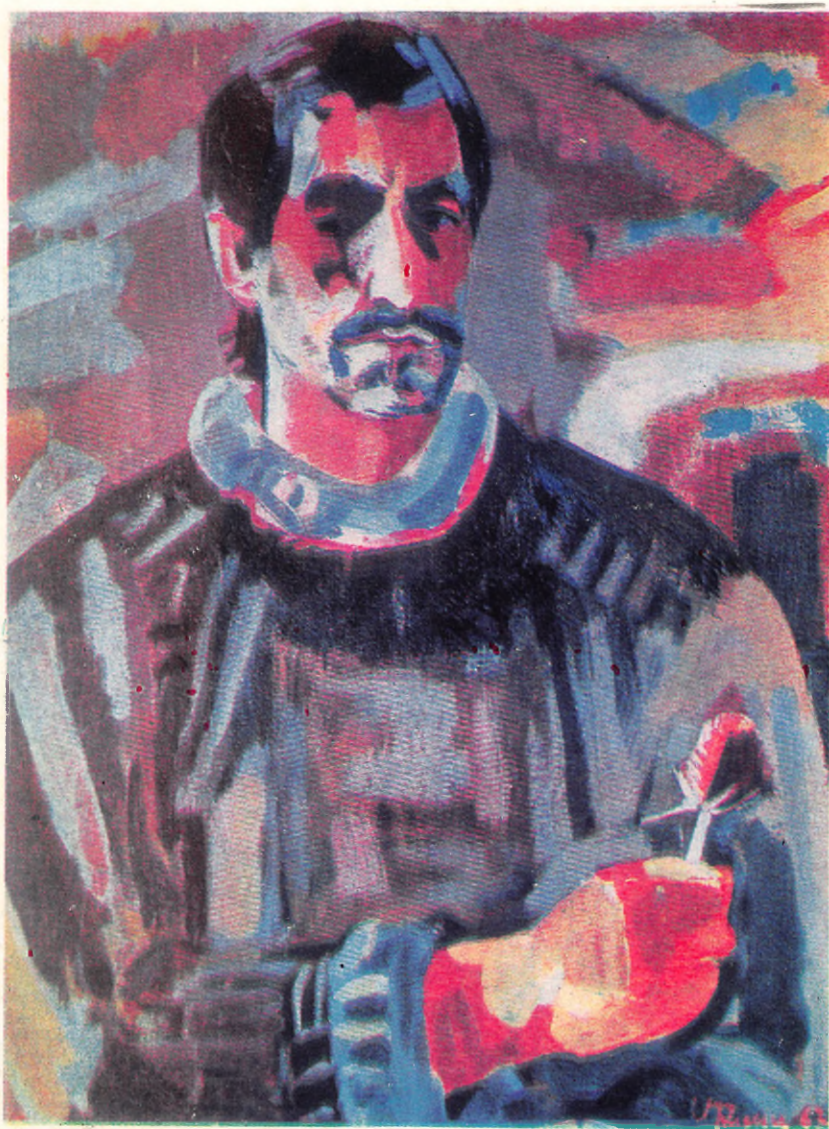


ISSN 0130 — 3597

ЛИТЕРАТУРНАЯ АРМЕНИЯ

7.1988





Мина с. Автопортрет с колючкой.

Литературная Армения

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Армении

«ԼԻՏԵՐԱՏՈՒՐՆԱՅԱ ԱՐՄԵՆԻԱ»

Հանրային գրքերի միության գրական-գեղարվեստական և
կուլտուրային-բանասիրական հանդես

Издается с декабря 1958 года

В НОМЕРЕ:

7 (356)
ИЮЛЬ 1988

ПРОЗА, ПОЭЗИЯ

- СУРЕН ГАЗАРЯН. Это не должно повториться. Документальная повесть. Продолжение 2
- ГЕВОРГ ЭМИН. Монолог Смаманто. Стихи 51
- ЮРИЙ КАРАБЧИЕВСКИЙ. Тоска по Армении. Повесть 56
- НОРАЙР БАГДАСАРЯН. Стихи 89

КРИТИКА

- ЕЛЕНА АЛЕКСАНИЯН. Ищу дом 90

ИСКУССТВО

- ВИКТОР ГОЛЯВКИН. Минас 100
- ИРИНА ЗОЛотоВА. И снова «Путешествие в Арзрум» . . 108

На первой странице обложки: Минас. Севанский монастырь

Сурен Газарян

ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ

Документальная повесть

ТБИЛИССКАЯ ТЮРЬМА

На следующий день после приговора меня вызвали «с вещами».

Я тепло попрощался с Керкесалия и Абеловым, пожелал встречи с ними на воле. Увы, мои пожелания остались лишь пожеланиями.

Их расстреляли.

Многие работники Закавказской железной дороги, партийные руководители были уничтожены. Застрелился начальник политотдела дороги Паверман, а Бобрышева, вступившего в эту должность, арестовали и расстреляли...

Меня вывели в тюремный двор. Впервые после 7 июля я дышал свежим воздухом. Посредине двора стояла грузовая машина с очень высокими бортами. Чуть подальше стояла другая машина, похожая на комфортабельный автобус, с занавесками на окнах. Но для чего такой шикарный автобус в тюремном дворе? Только приглядевшись, можно было определить, что и окна, и занавески — бутафорские, искусно нарисованные, и эта машина не что иное, как обыкновенный «черный ворон».

Во дворе находилось несколько человек. Дежурный комендант Тестов проверял списки, оформлял. Я искал Хвойника. Его нигде не было видно. «Неужели его тоже?..» — подумал я. Наконец, показался Хвойник. Бледный, испуганный. Мы крепко поцеловались. К нам подошел Тестов.

— Я не знаю, как выразить вам свою радость, товарищи, — сказал он. — Вы редкие счастливы, которых после суда отправляют в тюрьму. Я сердечно желаю вам здоровья и всего, всего хорошего. Держитесь, ребята, кто его знает, чем кончится эта заваруха? Ох, если бы вы знали, как тяжело приходится нам.

Мы не сомневались в искренности слов Тестова.

Нас присоединили к группе людей. Знакомых лиц среди них не было. Спросил одного из них:

— Вас тоже вчера осудили? Какой срок?

— Какой там осудили! Меня утром арестовали, и не знаю за что.

Выяснилось, что вся эта группа — новички, только что с воли.

Кроме меня и Хвойника осужденных не было.

Всех нас посадили в грузовики. По углам стояла охрана. Машина тронулась. Хвойник плакал. Мы не говорили. Нам было запрещено разговаривать в машине. Высокие борта не позволяли нам видеть людей — только верхние этажи зданий и небо. Наше чистое южное небо особенно красиво осенью, в солнечный день.

Доехали быстро. Огромные железные ворота тюрьмы открылись, проглотили машину и снова закрылись.

Продолжение. Начало № 6.

Нас выгрузили, привели в комендатуру тюрьмы. Хвойника и меня отделили от остальных, как осужденных, и подвергли первой унижительной процедуре — дактилоскопии. Работник, проводивший эту процедуру, насмешливо сказал:

— Давайте сюда пальчики, будем играть на пианино.

Вызвали старшего по корпусу осужденных. На вызов явился человек лет под тридцать с рыжеватыми волосами. Хвойник шепнул мне:

— Миша!

Я не знал, кто этот Миша. И Миша не подавал вида, что знает нас. Получив какую-то бумагу, он сухо и официально спросил наши анкетные данные и скомандовал:

— Пошли!

Когда вошли в следующий двор, он оглянулся вокруг и спросил:

— Товарищ Хвойник, какими судьбами? И вас не миновал этот шквал? Ну что, срок получили? Слава богу, что так. Могло быть хуже.

— А это мой начальник, — указывая на меня, с большим трудом от волнения выговорил Хвойник. У него сильно дрожали губы, он хотел еще что-то сказать, но не смог, глаза наполнились слезами.

— Ну, Миша, — обратился я к нашему провожатому, — ради встречи при таких обстоятельствах устройте нас получше, если, конечно, от вас это зависит.

— Не беспокойтесь, все будет сделано. Хотя вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю. Я сделаю все, чтобы устроить вас получше.

Он оставил нас в своем «служебном» кабинете, где работал и спал. Это была его камера. Хвойник, оправившись немного от волнения, рассказал мне историю Миши. Он работник по хозяйственной части. В прошлом году возникло дело по хищению социалистической собственности. Группа людей, с ними и Миша, была арестована. Дело вел Хвойник.

По окончании следствия дело было направлено в суд. Расхитителей приговорили к разным срокам, а Миша за халатное отношение к служебным обязанностям получил два года лишения свободы.

Как мы видели, Миша не сидел без дела, а был до некоторой степени начальником. Вскоре он появился и сказал, что с нами в камере будет еще один старик.

— Он очень тихий и спокойный человек и вам мешать не будет.

Мы поблагодарили Мишу.

Камера наша была не очень маленькая. Четыре койки с грязными, набитыми сеном матрацами. Что ни говори, все же постель. Стол, табуретки, шкаф. Мы давно отвыкли от такого комфорта.

75-летний старик оказался братом известного в Грузии Михаила Окуджава. Человек одинокий, без семьи. В чем он обвинялся и за что был осужден на десять лет тюрьмы, мы так и не узнали.

— Какое это имеет значение, в чем меня обвиняли? Я же брат Михаила Окуджава! Вот и вся моя вина. Я одинокий человек, мне все равно, где умереть, но что это за порядки, когда брат должен ответить за брата?

Он в самом деле оказался спокойным стариком. Почти не вставал с койки и спал. А если и не спал, то глаза его всегда были закрыты, и разговаривал он с закрытыми глазами.

Итак, Хвойник и я хорошо устроились в тбилисской тюрьме и были благодарны за это нашему «доброму гению» — Мише.

У Хвойника нервы были расстроены до предела. Он все время боялся расстрела. Он не верил, что суд уже позади и он получил срок.

— Нет, это чепуха, — говорил он, — в любое время нас могут вызвать обратно, пересудить и расстрелять. Я знаю, пока они нас не расстреляют, не успокоятся.

Я не знал, что такие случаи бывали, и утверждал, что он говорит глупости.

— Однако как сильно тебя изуродовали, — сказал Хвойник. — Я вряд ли узнал бы тебя, если бы Урушадзе не назвал твою фамилию. Ты ничего не подписал, что ли?

— Нет, ничего не подписал. А ты?

— Я подписал. Я не могу переносить побои.

Хвойник был арестован одновременно со мной, 7 июля. Он, оказывается, ждал своего ареста. Он был еще на свободе, когда арестовали начальника Закавказского управления милиции Валериана Полюдова. Того обвиняли в том, что он совершил террористический акт над заместителем наркома внутренних дел Закавказья Арменаком Абуляном, нарочно устроив автомобильную катастрофу...

В 1935 году летом Абулян и Полюдов ехали в Абастумани к отдыхающим там семьям. За рулем сидел Полюдов. Машина свалилась в овраг. Полюдов получил тяжелые ранения, а Абулян скончался. Вот этот случай и был использован для обвинения Полюдова в совершении террористического акта.

В те дни Хвойник работал в непосредственном подчинении Полюдова.

В 1937 году Полюдова арестовали и жестоко избивали. Хвойник слышал, как Полюдов говорил допрашивающему его следователю:

— Что вы от меня хотите, я же уйму людей оговорил! Кого еще я могу оговорить?

После этого Хвойник потерял покой. Он не сомневался, что среди оговоренных значится и он.

Дело Хвойника вел один из работников нашего отдела, Одишария. После первой же пытки Хвойник не выдержал и заявил, что подпишет протокол. В протоколе было сказано, что он был завербован Газаряном в контрреволюционный заговор.

— Странно, в обвинительном заключении по моему делу никаких ссылок на твои показания не было, — сказал я.

Когда Одишария предъявил ему протокол об окончании следствия, Хвойник спросил:

— А что сделают со мной?

Одишария спокойно ответил:

— Неужели тебе не ясно? Ты предатель, изменник, а таких уничтожают. Тебя тоже расстреляют как собаку.

С того дня Хвойник ждал расстрела.

— Ну, Леня, давай бросим разговор на эту грустную тему. Лучше подумаем о том, каким способом дать знать Шуре и Любе, что мы здесь.

Мы надеялись, что Миша нам поможет, и решили обратиться к нему.

На следующий день утром объявили:

— Приготовиться на прогулку!

— Это замечательно, — обрадовался я, — значит, каждый день будем гулять.

Мы помещались в огромном четвертом корпусе, на последнем этаже. Там было несколько камер, в том числе две огромные камеры, рассчитанные на 20—25 человек, но в них были напиханы, как сельди, в бочку, по 200 человек и больше. Двери всех камер открылись одновременно, и целая вереница заключенных вышла на прогулку.

На лестнице я встретился со старым знакомым — секретарем партийной организации макаронной фабрики Хачатуровым, с которым сидел в первые дни моего ареста.

— Здравствуй, Мкртыч! Ты тоже осужден? Сколько получил?

Он удивленно посмотрел на меня.

— Простите, не узнал.

— Неужели я так изменился? Ведь нет и трех месяцев, как мы расстались. А ну, пошевели мозгами.

— Постой-постой... Неужели Сурен? Господи!

— Да! Узнал, молодец. Значит, я сильно изменился?

— Страшно на тебя смотреть. Как можно довести человека до такого состояния?

— Я отделался легким испугом, — продолжал Хачатуров, — даже не знаю, как это случилось. Меня судила «тройка» и дала пять лет. Я еще не верю своему счастью.

Да, пожалуй, Хачатуров был единственный человек, который в те дни отделался таким сроком.

Я внимательно рассматривал людей, искал знакомых. Увидел парня, с ко-

торым встретился в камере в ожидании суда, увидел одного из работников НКВД Грузии Пармена Чолокия, увидел — и не поверил своим глазам — нашего Акакия Кохреидзе.

Он очень изменился, поседел, похудел, постарел.

— Акакий, ты ли это? Неужели жив?

Он постоял секунду в нерешительности и узнал.

Мы обнялись.

— Послушай, я сам своими глазами прочел надпись на стене, что ты «не вернулся». Я считал, что тебя нет на свете.

— Надпись соответствует действительности.

Кохреидзе рассказал, что никакого нового обвинения ему не было предъявлено. Все дело вертелось вокруг старого обвинения, пережевывали то, что было давно пережевано, с той разницей, что все это было квалифицировано как подготовка террористического акта, и «суд» предъявил ему восьмой пункт. Кохреидзе, как и все остальные, пролепетал что-то две минуты, и «суд удалился на совещание». Кохреидзе не объявили никакого решения и спустили вниз, в камеру смертников. Две недели продержали его там. Две недели, каждую ночь, почти в одно и то же время, открывали двери камер и выводили людей. Две недели, каждую ночь подходили к его двери, открывали, но кто-то выкрикивал: «Его не надо!» — и снова закрывали дверь.

— Каждый день я ощущал смерть в непосредственной близости, — говорил Кохреидзе. — Я дошел до грани сумасшествия... Через две недели снова вызвали на «суд» и объявили приговор: десять лет тюремного заключения с поражением в правах на пять лет после отбытия наказания и, конечно, с конфискацией имущества.

Мы договорились, что скажем Мише, чтобы Акакия тоже перевели в нашу камеру. Но не успели. Через день Кохреидзе был вызван в этап. Нам этот этап показался очень странным. Только его, больше никого. Что за этап для одного человека? Хвойник утверждал, что Кохреидзе вернули в НКВД и расстреляли. Признаться, на этот раз я с ним был согласен, но не хотел его расстраивать:

— Ты брось глупости, этого не может быть.

Мы спросили об этом нашего Мишу, и он подтвердил, что действительно Кохреидзе отправлен этапом куда-то.

Спустя много лет Кохреидзе рассказал, что в самом деле в «стольпинском» вагоне его одного этапировали из Тбилиси во Владимирскую тюрьму. Какое сумасшествие! Какое неслыханное разбазаривание государственных денег... Целый вагон для одного человека, целая команда конвоиров, служебные собаки...

Нам не пришлось обратиться к помощи Миши, чтобы дать знать женам о нашем местонахождении.

После прогулки меня и Хвойника совершенно неожиданно вызвали и вручили нам передачу. Она была собрана поспешно, все из магазина: хлеб, сыр, колбаса, чеснок и прочее. Самое главное — записки, написанные руками наших жен... Через несколько дней, в дни передач, мы получили теплые, заботливо приготовленные вкусные домашние обеды.

Это было просто поразительно. Каким образом с такой молниеносной быстротой они узнали о нашем местонахождении?

Мне не суждено было спросить об этом Любу. Спустя много лет Шура, жена Хвойника, ответила на этот вопрос:

— Если вы были чекистами, то мы были вашими женами. И нам было бы не к лицу, если бы мы не следили за вами и не узнавали о каждом вашем новом местонахождении. Мы всегда знали, где вы находитесь.

— А если бы нас расстреляли, вы бы узнали об этом?

— Не дай бог... Но и в таком случае мы бы узнали об этом. Среди ваших товарищей были такие, которые не отвернулись от нас, сочувствовали нам...

Итак, связь была установлена. В дни передач мы продолжали получать домашние обеды. Мы всегда удивлялись, каким образом наши жены ухитрились приносить в тюрьму горячие обеды. Выяснилось, что они договорились с одной женщиной, живущей недалеко от тюрьмы, и у нее готовили обед. Одна готовила, другая стояла в очереди на передачу.

По всей вероятности, в очереди стояла Люба, ведь она совсем не умела готовить.

Через несколько дней нашего пребывания в тюрьме меня неожиданно вызвали и привели в комнату, разделенную пополам сплошной решетчатой сеткой в два ряда, с расстоянием между ними немногим больше одного метра. Я понял, что мне разрешено свидание.

Наверно, с Любой... Я никак не рассчитывал на это свидание. Мне безумно хочется ее видеть, но как можно показаться перед ней в таком виде? Нет, я не хочу этого. Я заявил надзирателю, что отказываюсь от свидания, но он мне ответил, что не вправе решать этот вопрос и пока свидание не кончится, он из этой комнаты меня не выпустит.

Между тем комната наполнилась заключенными, они шеренгой становились у решетки. Я тоже занял место в углу. Между решетками шагали два надзирателя.

— Смотрите, о деле ни слова, — предупреждали они.

Начали пускать людей. Они заполнили другую половину комнаты по ту сторону решетки. Я увидел Любу. Она стремительно вошла. Она искала меня. Несколько раз посмотрела в мою сторону, но продолжала искать. Спазмы сжали мне горло...

— Люба! — крикнул я с трудом и заплакал.

Люба подошла. Я не мог произнести ни слова. Она держалась молодцом.

— Ты не говори, Суренчик, тебе нечего сказать. Я буду говорить, а ты слушай.

Я не в состоянии был сдержать слез.

— Возьми себя в руки и береги себя. Я все знаю. Ничего не надо говорить. Ты не один, я не одна. Я счастлива, что вижу тебя, понятно?

— Как дома? — сквозь слезы спросил я.

— Все в порядке. Мама тоже очень хотела тебя видеть, но разрешили только мне. В следующий раз придет она. Сама уступила мне первое свидание.

— Не надо ей приходить. Я не хотел видиться с тобой в таком виде, не хочу, чтобы и мама видела.

— Ты для нас все такой же, каким был всегда, милый. Береги себя, еще раз прошу. Мы будем ждать тебя и обязательно дождемся. Дети ничего не знают, все время спрашивают: «Где папа?», а я им говорю: «В командировке». — «Ух, какая длинная командировка!» — говорят они. Когда собирала тебе передачу в день рождения Маечки, Спартак увидел твои сорочки, набросился на них и стал целовать: «Папины сорочки, папины сорочки». Они очень скучают по тебе. В тот вечер, когда Майке исполнилось 4 года, мама и я сделали все, чтобы дети не почувствовали твоего отсутствия. Майка получила подарок от тебя тоже, а бабушка испекла ей вкусный торг. Ты тоже вспоминал нас и мысленно присутствовал на нашем вечере, не так ли?

— Да... — Я не мог продолжать, вспомнив страшную ночь моей пытки.

— Ну, опять слезы. Я не узнаю тебя. Мужайся, дорогой мой. О нас не думай, береги себя...

Без предупреждения между решетками опустился занавес.

— До свидания, милый, мы будем ждать тебя, — услышал я голос Любы по ту сторону занавеса.

Откуда в этой женщине столько выдержки? Ничем она не выдала своего нервного потрясения, когда увидела меня в таком состоянии. За все время свидания у нее не дрогнул голос, не проронила она ни одной слезинки, бодро рассказывала, ободряла и меня. Она даже не спросила, на какой срок я осужден, и я ей не сказал ничего об этом...

Она перенесла тогда еще одно потрясение. Был арестован и расстрелян ее родной брат, старый чекист Арташес Аванесян. Я ничего не знал об этом в то время, а она ничем не выдала свое состояние..

Прошла целая жизнь после этого свидания, но и теперь, когда я пишу об этом, вижу Любу перед собой, вижу ее энергичное лицо, спокойные глаза, слышу ободряющий, уверенный голос.

Я не хотел этого свидания. Я знал, что мой ужасный вид произведет на нее убийственное впечатление, но не думал, что это свидание станет для нее роковым.

Только после освобождения я узнал о страшных последствиях той встречи.

Добившись свидания со мной, она пришла в тюрьму со своей двоюродной сестрой Любой Оганезовой. Та ждала ее на улице.

— Когда она вышла после свидания, — рассказывала Оганезова, — она шаталась. Я подошла, взяла ее под руку. Она закрыла глаза, оперлась на меня, помолчала немного, затем тяжело вздохнула и сказала: «Во что превратили моего Сурена, Люба, если бы ты видела, во что превратили этого человека!..» Когда она открыла глаза, — продолжала Оганезова, — они как-то странно блуждали... И с этого времени наша Люба стала рассеянной, она смотрела, но не видела, слушала, но все пропускала мимо ушей, неожиданно закрывала лицо руками и говорила: «Во что превратили моего Сурена, господи, во что превратили этого человека». Сама она не могла связно говорить о чем-нибудь, прерывала себя и, уставившись в одну точку, повторяла: «Во что превратили моего Сурена». Чем дальше, тем хуже... У нее появились признаки шизофрении. Она не подпускала к себе никого и говорила: «Не подходите ко мне близко, от меня плохо пахнет»...

В 1938 году моя мать взяла Майку и поехала в Шелково, к моему брату. Люба со Спартаксом остались в Тбилиси. Люба, имея законченное высшее образование, не могла устроиться на работу по специальности и работала швейей-надомницей, никто не хотел принимать на работу жену врага народа.

28 сентября, ровно через год после того, как меня осудили, Люба со Спартаксом пришла к Любе Оганезовой и попросила оставить Спартака у нее на ночь. Она сказала, что у нее есть срочная работа, а Спартак будет ей мешать. Люба попросила сестру отвести Спартака утром в школу и в полдень зайти за ним. Вечером она заберет его.

— Она была такая, как всегда, — рассказывала Оганезова, — мрачная, сосредоточенная. Очень спешила. Я не могла уговорить ее остаться на ужин. Она сказала, что у нее много работы. Чего греха таить, в тот момент я плохо подумала о Любе: наверное, совсем по другой причине она не хочет, чтобы Спартак ночевал дома. Я ругала ее мысленно, но не высказала своих подозрений. Я сказала, что Спартак может оставаться у меня сколько угодно, и пусть она не беспокоится — и в школу отведу, и из школы приведу. Люба взяла слово со Спартака, что он будет слушаться меня, несколько раз крепко поцеловала его, потом обняла меня, поблагодарила и вышла. Какая я была дура, не догадалась! Через минуту она снова вернулась и спросила меня, не забуду ли я дать Спартаксу завтрак с собой. Я сказала, что она говорит глупости. Люба подошла к Спартаксу, взяла его голову в свои руки. Она пристально смотрела ему в лицо, потом прижала его голову к груди и долго, долго целовала. Я все это приписала ее странностям, не догадалась, что она прощается с сыном навсегда... Потом я рвала на себе волосы, но было поздно... На следующий день Люба не пришла за Спартаксом. «Загуляла баба», — подумала я. Ведь сама же сказала ей, что Спартак может оставаться у меня сколько угодно. На другой день утром я отвела Спартака в школу и решила зайти к Любе. Дверь была закрыта. Ключ она всегда держала в условленном месте. Я открыла дверь, зашла. На столе лежали исписанные ее размашистым почерком листы бумаги и сверху письмо: «Дорогая Люба, сестра моя...»

Я поняла все... Выбежала оттуда, заявила куда следует и начала поиски трупа... Наняла людей, искали в Куре. Не нашли. Тогда я стала ходить по моргам и, наконец, нашла ее труп с отрезанными до бедер ногами. Ее подобрали около железнодорожной станции «Арсенал». Врачи говорили, что если бы подобрали вовремя, могли бы спасти. Лицом она совершенно не изменилась, будто спала. Письмо я сохранила, но что было написано на больших листах, не догадалась прочесть, и не знаю, кому они были адресованы. Их забрали.

Оганезова сохранила и передала письмо мне. Последнее письмо любимого человека, написанное в последние минуты жизни... Вот оно:

«Дорогая Люба, сестра моя!

Я должна:

1. Саркисовым 60 рублей,
2. Араратовым 15 рублей.

Из артели за меня получит деньги управделами Пурцеладзе. Спартак знает, где она живет. Получи деньги и расплатись. Из моих вещей продай и возьми себе. Всю работу, и готовую, и начатую, сдай мастеру или его жене. Спартак знает, где. Мама и Маечка пусть останутся там, у брата. Спартака сдай в приют. Он не пропадет.

Прости..

Адрес мамы: Москва, Щелково, Малая Пролетарская, 32.

Адрес Сурена: ст. Кемь, почт. ящик № 20/5, Газаряну С. О. Ему ничего не сообщать».

Все. Ни даты, ни подписи.

Но я забежал вперед. Вернемся в камеру тбилисской тюрьмы.

Через несколько дней Миша подзвал к себе Хвойника и сказал, что в тюрьму привезли Сосо Мгебришвили и, если мы не возражаем, он поместит его в нашу камеру.

— Ну конечно нет. Давай его скорей!

От неожиданности Сосо растерялся. Он никак не рассчитывал встретиться с нами. Обнялись, поцеловались, и не было конца расспросам и рассказам.

Иосиф Мгебришвили, или просто Сосо — один из работников нашего отдела. Из его рассказов мы узнали, что его не пытали, так как он «признал себя виновным». На «суде» он отказался от своих показаний и заявил, что давал их для того, чтобы избежать пыток. Он просил учесть это обстоятельство и то, что он совершенно невиновен. Суд «учел» все это и приговорил Мгебришвили к 10 годам тюремного заключения. Этим решением Сосо остался очень доволен, так как боялся расстрела.

Нас стало четверо в камере.

Мгебришвили шутил:

— Начальник отдела есть, два начальника отделения тоже, старика Окуджава сделаем секретарем и организуем наш отдел в тюрьме. Кто его знает, может быть, еще кто-нибудь проскочит через мясорубку и присоединится к нам.

На следующий день жена Мгебришвили Мария принесла передачу мужу. Да, удивительно четко была поставлена информация у наших жен!

Однако нам недолго пришлось пользоваться передачами. Тюремному начальству было приказано прекратить прием всяких передач осужденным по статье 58. Воры, бандиты, карманники, расхитители социалистической собственности и прочие подонки пользовались в тюрьме большой льготой: их камеры днем не закрывались на ключ, они свободно разгуливали по тюрьме.

Один из крупных расхитителей социалистической собственности нахально издевался:

— До чего несчастны эти «политические»: за душой ни гроша, семья, наверно, голодает, членам семьи работы не дают, передач и свиданий не разрешают. Вот я нахапал полмиллиона рублей, обеспечил семью на всю жизнь и получил за это восемь лет. Где бы я ни отбывал этот срок, работа мне обеспечена, и жену могу выписать туда, пройдет четверть срока — там зачеты, амнистия, и я снова на свободе. Вы здесь ни шагу не смеете сделать без разрешения начальника тюрьмы, а я плюю на него.

Да, нам ничего не разрешалось. Разумеется, были прекращены и свидания.

Каким-то образом дали нам разрешение писать домой письма и получать ответы. Я получил несколько ободряющих, теплых писем от Любы.

Наша «мирная» жизнь в тюрьме была нарушена. Мгебришвили вдруг приказали собраться с вещами. Он настолько испугался, что не в состоянии был собрать свои вещи.

— Это на расстрел, — повторял он.

Хвойник и я испугались не меньше его. Я успокаивал Сосо как мог. Вскоре его увели. Мы долго не могли опомниться. Хвойник, до этого немного успокоившийся, снова начал нервничать.

— Мгебришвили расстреляли, теперь очередь за нами, — повторял он.

Через две недели измученного, похудевшего, побледневшего Мгебришвили вернули в нашу камеру. Мы бросились к нему:

— Чего от тебя хотели? Рассказывай.

— В общем, Кобулову не понравилось, что я получил срок. Он добивался моего расстрела. Дело было поручено Давлианидзе. Он официально объявил мне, что приговор Военной коллегии в отношении меня аннулирован и дело передано ему на следствие. Вот и мучали две недели, но в конце концов оставили приговор в силе.

Между прочим, Мгебришвили рассказал следующую историю. В камере, где он сидел, находился один армянин, крестьянин из Ахалкалакского района по имени Седрак. Разумеется, он тоже должен был убить Берия. Седрака, как «важного преступника», вызвал на допрос сам нарком Гоглидзе.

Когда его привели в кабинет Гоглидзе и тот хотел приступить к допросу, Седрак сказал:

— Начальник, Седрак очень голодный, кушать хочет, говорить не может.

— Накормите его, — распорядился Гоглидзе.

Накормили и снова привели в кабинет Гоглидзе.

— Спасибо, покушал, а теперь Седрак очень хочет пить.

— Дайте ему воды, — распорядился нарком.

— Нет, начальник, зачем воды? Седрак чай хочет.

— Дайте ему чаю.

Напившись чаю, Седрак сказал:

— Спасибо, начальник, Седрак напился, а теперь Седрак курить хочет.

Дали ему папиросу, Седрак выкурил, поблагодарил и на предложение Гоглидзе «ну, говори», ответил:

— Нет, начальник, Седрак говорить не хочет. Седрак правильный человек, неправду говорить не будет.

Разумеется, угощение Седраку обошлось дорого...

Мы жили в этой камере до 17 ноября 1937 года.

17-го утром наш внимательный Миша сообщил нам, что готовится этап, что всех нас трюх вызовут с вещами и чтобы мы зря не тревожились. Немного погодя он сообщил, что жены Мгебришвили и Хвойника арестованы и доставлены в тюрьму. Я спросил про Любу. Он проверил и сказал, что ее нет в тюрьме.

Мгебришвили и Хвойник были очень встревожены арестом своих жен. Особо Хвойник. Он очень сокрушался — у них была маленькая дочь.

— А как с Людой? Кому оставили Люду? — говорил Хвойник.

После обеда всем нам троим предложили подготовиться с вещами и перевели в большую камеру, что находилась против нашей. Очутившись в этом аду, где находилось до трехсот человек, мы по-настоящему оценили ту огромную услугу, которую оказал нам Миша.

Среди осужденных в этой камере оказался один из курсантов Закавказской межкраевой школы. Он свою практику проходил в Армении, там и был арестован. От него я узнал об аресте секретарей ЦК КП Армении Амо Аматауни и Степы Акопяна, о гибели председателя совнаркома Армении Саака Мирзоевича Тер-Габриеляна, об аресте ряда работников НКВД Армении.

Спустя много лет, в Ереване я встретился со старым моим другом Арменакот Токмаджяном. Он рассказал, что в июле 1938 года на стене одной из камер тюрьмы он прочитал надпись, сделанную рукой старого члена партии Арама Дастакяна: «После судебного «разбирательства», длившегося пять минут, я приговорен к смерти. Умираю совершенно невинный. Горячий привет и поцелуй родным. Да здравствует армянский народ, да здравствует Сталин!». Аналогичные надписи сделали Айказ Карагезян, Ншан Макинц...

На стене была также надпись Ваана Тотовенца, сделанная в художественной форме. Очень жаль, что Токмаджян не запомнил последние слова талантливого писателя.

В камере рядом находились и ждали приговора Сергей Мелик-Осипов, Вард-

кес Авакян, Самсон Вардамян, Ваган Мелкумян, Аветик Геворкян... 17 человек. Все члены партии, руководящие работники.

Целая плеяда армянских чекистов была уничтожена. Из отбывших сроки и вернувшихся я встретился с Алешей Дулгаровым, Ваганом Айрапетовым и Анаидой Панян. Кажется, кроме них никто не уцелел.

— Нас выводили на прогулку только ночами, — говорил Токмаджян. — Когда мы протестовали и просили выводить на прогулку днем, чтобы дать нам возможность погреться на солнце, начальник тюрьмы Захар Микаелян говорил: «Советское солнце не для вас, контрреволюционеров». Теперь этот Захар ушел на почетную пенсию, получает вдвое больше, чем заслуженные инженеры, и разгуливает по улицам Еревана.

Анаида Панян рассказывала, как были арестованы она и Перч. Это было в конце августа 1937 года. Перч Панян, Анаида и их 12-летняя дочь Дина возвращались из Москвы. Они не знали, что их ожидает в пути. По прибытии поезда в Ростов работники НКВД окружили поезд и искали «крупного контрреволюционера в форме капитана госбезопасности» и его жену. Они рыскали по всему поезду и на платформе. Многих военных останавливали, приказывали: «Руки вверх», проверяли документы. Наконец «крупный контрреволюционер в форме капитана госбезопасности» и его жена были найдены и тут же разлучены.

— Перча увели раньше меня, — говорила Анаида. — Я смотрела ему вслед, обезумевшая от неожиданного удара. Перед выходом из вагона Перч повернулся ко мне и крикнул: «Знай, Анаида, я честный человек, ни в чем не виновен...» Заставили его замолчать и увели.

— А Дина?

— Дина! Кого могла интересовать судьба двенадцатилетней девочки? Я заявила, что девочка осталась одна, но мне грубо отрезали: «Ничего, доедет». Дина в одно мгновение лишилась отца и матери.

Да, Дина осталась одна среди незнакомых, перепуганных людей. Но Дине «повезло». Ехал в том же вагоне товарищ по работе Гога Погосов. Хорошо, что он не испугался, проявил заботу о Дине, телеграфировал в Ленинакан, там встретили и приютили девочку.

Э Т А П

Только на следующий день после обеда занялись нами. Вызывали по одному и уводили из камеры. Всех уже вывели, остались мы трое: Хвойник, Мгебришвили и я. Хвойник очень нервничал.

— Вот нас оставили, заберут обратно в НКВД и шлепнут, — часто повторял он.

Я прикрикнул на него:

— Будь мужчиной, успокойся, возьми себя в руки и не ложись в могилу раньше времени.

Каждая минута ожидания казалась нам вечностью. Я успокаивал Хвойника, но и сам начал беспокоиться и нервничать. Волновался и Мгебришвили.

Наконец, вызвали Мгебришвили. Через некоторое время пришли за Хвойником, затем вызвали меня. Когда меня вывели во двор, я увидел всех «этапников» сидящими на земле в окружении усиленной охраны. Но меня не присоединили к ним, а ввели в контору тюрьмы. Там никого не было. На письменном столе лежало много запечатанных сургучной печатью больших пакетов. «Это дела тех, кого отправляют в этап, — подумал я. — Интересно, есть ли среди них наши дела?» Конвоир поставил в углу комнаты табуретку, приказал мне сесть, запер контору на ключ и ушел.

— Значит, в этап, — произнес я вслух, — но для нас ли?

— Сурен, это ты? — донесся до меня голос Хвойника.

Оказалось, он заперт в соседней комнате.

— Да, я. Тебя тоже заперли? А где Сосо?

— Не знаю, я его не видел. Видишь, нас не присоединили к этапу. Значит,

нас заберут обратно в НКВД. Я больше не могу. Я спрятал лезвие в спичечном коробке... Я вскрыю вены...

— Ты с ума сошел, Леня! Не смей, слышишь? Мне отсюда все видно, я буду сообщать тебе, что происходит. Если этап отправится, а мы останемся, значит, ты прав, конец. Тогда делай что хочешь, а до этого не смей, понял? Дай мне слово.

Я передавал Хвойнику все, что видел, стараясь всячески его успокоить. Наконец пришел кто-то из конвоя и стал перебирать дела... Раз, два, три... Тридцать пять.

Я с трепетом следил за его действиями. Хвойник что-то спрашивает, но я не могу ответить в присутствии конвоира.

— Сурен, что ты молчишь? Сурен, где ты? — спрашивал Хвойник.

В ответ я громко кашлянул.

— Что это за разговоры? — не отрываясь от своего дела, буркнул конвоир.

— Тридцать пять дел, — сказал конвоир вслух. — Все.

«Все». Внутри что-то оборвалось. Тридцать пять без нас троих. Значит, нас отделили от этапа. Опасения Хвойника оправдываются. Нас безусловно возьмут в НКВД. Конвоир забрал дела и дошел до двери, но что-то вспомнил и вернулся.

— Вот, черт, чуть не забыл, — вслух сказал он. Положил дела на стол, достал из ящика еще три дела, три таких же сургучной печатью запечатанных пакета, присоединил к остальным и ушел.

— Леня, Леня, едем, слышишь! — крикнул я, как только конвоир вышел.

— Все тридцать восемь дел он забрал с собой. Я не отвечал тебе, потому что здесь торчал конвоир. Теперь ты выбрось лезвие, оно никому не нужно. Выбрось сейчас же!

Этапников построили по пять человек в семь рядов. Затем я увидел, как привели Мгебришвили из больничного корпуса и присоединили к этапу. Я передал об этом Хвойнику. Идут к нам.

— Идут за нами, Леня. Смотри, если меня возьмут раньше, не дури.

Сперва вывели меня и показали мое место в одном из рядов этапа. Вслед за мной вывели Хвойника.

Теперь все стало понятно. В отношении нас троих конвой имеет особые инструкции, им приказано быть особо бдительными в отношении нас и не допускать нашего общения между собой во время этапа. Конвой принял меры, чтобы при построении этапа мы оказались в разных рядах.

Затем началась процедура стрижки. Будто нельзя было сделать это до построения людей. Потом подали три «черных ворна». Конвой позаботился о том, чтобы Мгебришвили, Хвойник и я были посажены в разные машины.

К сожалению, мы не имели возможности попрощаться с Тбилиси, в последний раз полюбоваться городом-красавцем.

На вокзале нас под усиленной охраной ввели в «столыпинский» вагон. В четырехместном купе нас было 13 человек. Из всего вагона только три купе занимали заключенные, а в остальных разместились охрана. Заключенных рассадили через купе. Мгебришвили, Хвойник и я оказались в разных купе.

Мы определили, что нас прицепили к скорому поезду Тбилиси — Москва.

Этап был мучительный. Нарочно были созданы невыносимые, нечеловеческие условия. У нас были отобраны все деньги, и по дороге нам ничего не покупали. Арестантский паек состоял из хлеба и очень соленой, вонючей селедки или, еще хуже, какой-то полусырой, полувяленной тухлой рыбы. Хотелось пить, но вода давалась каждый раз со скандалом. Адские условия этапа усугублялись тем, что нам не разрешали пользоваться уборной по нашему желанию. Начальник конвоя строго предупредил, что будут пускать в уборную два раза в сутки — утром и вечером, и никому никаких исключений не будет. Мы сразу же убедились, что конвой намерен строго придерживаться этого. Просьбы многих пользоваться уборной в «неположенное» время ни к чему не приводили. Пошли в ход все емкости, в том числе и обувь. Ужасная вонь стояла в купе. Мы задыхались. Все было сделано, чтобы унижить наше человеческое достоинство, и каждый раз, когда мы протестовали, получали один и тот же ответ: «Не забывайте, что вы заключенные». Странная логика: заключенный не человек, ему не присущи челове-

ские потребности. Заключенных можно запихивать по тринадцать человек в четырехместное купе...

Наконец, приехали в Москву. Из крошечного окна был виден кусочек «воли». Странно было смотреть на людей, идущих без конвоя. Потом наш вагон перебрались куда-то, и мы оказались между товарными вагонами. Несколько дней стояли там и, наконец, тронулись. Старались определить направление. Установили, что едем по ленинградской дороге. Едем медленно, на станциях долго стоим, вагон освещается свечами. Простояв двое суток на какой-то станции, поехали дальше, но не в Ленинград, а продолжали ехать куда-то в неизвестность.

Однако от арестанта ничего не скроешь. По вагону прошел слух, что едем на Соловецкие острова. Когда прибыли в Петрозаводск, уже не оставалось никаких сомнений: едем в Соловки.

Наконец по поведению конвоя мы определили, что прибыли на станцию назначения. Это было 6-го декабря поздно вечером. Еще одну бесконечную северную ночь нам пришлось ночевать в вагоне. Нас начали выгружать на следующий день, когда совсем рассвело. Выводили из вагона под усиленной охраной. Было много служебных собак. Всех заключенных вывели сразу. Хвойник, Мгебришвили и я оказались вместе. Тбилисские осторожности по отношению к нам были забыты. Нас построили. Начальник конвоя грозно предупредил: «Идти строго по следам переднего и смотреть на его каблуки. Шаг вправо, шаг влево будет считаться попыткой к бегству. Конвой имеет инструкцию применять оружие без предупреждения».

Начальник конвоя держал в руке шомпол и то и дело тыкал им в заключенных.

Мы находились на станции Кемь — перевалочной базе Соловецких островов. Наш вагон не был единственным — прибыло много вагонов, длинный состав.

Со станции нас повели в порт, где стоял небольшой пароходик. В порту нас приняла другая команда, очевидно тюремная. Наша группа очутилась в центральной каюте. Среди нас было много других заключенных, в основном москвичей. На пароходе мы пользовались свободой. Двери кают были открыты, мы свободно общались с заключенными других кают. Нам не разрешалось только выходить на палубу. Стоял необычный для нас, южан, трескучий мороз, и никто из нас не ощущал необходимости выходить на наружную палубу. Среди москвичей было много работников авиационной промышленности, авиационных институтов, конструкторских бюро. От них мы узнали, что арестован Андрей Николаевич Туполев.

Хвойник, Мгебришвили и я договорились просить тюремную администрацию поместить нас вместе.

Вскоре показался великолепный и грозный Соловецкий монастырь, замечательное творение мастеров русского зодчества. Наш пароход причалил. Мы увидели на окнах отдельных корпусов монастыря такие же железные козырьки, какие были в тбилисской тюрьме. «Неужели и здесь, на этом острове, нас будут держать под замком в изолированных камерах?» — с грустью подумали мы.

Началась высадка. Нас, тбилисцев, повели отдельной группой. Мы успели рассмотреть толстую, высокую стену монастырской ограды, фундаментом для которой служили огромные глыбы базальта.

Еще издалека мы заметили что-то красное над воротами ограды. Это был большущий плакат. На алом кумаче аршинными белыми буквами было начертано:

**«... Здравствуй, племя
Молодое, незнакомое!»...**

Кто-то счел нужным поправить Пушкина...

Мы недоуменно посмотрели друг на друга. Никак не могли понять, кому адресовано сердечное приветствие великого поэта у главных ворот далекой и суровой Соловецкой тюрьмы.

Тяжелые железные ворота открылись, и мы очутились внутри ограды. Нас повели дальше по двору. Навстречу попадались люди в валенках, стеганых брюках, ватниках, шапках. Они с любопытством рассматривали нас. Отдельные смель-

чаки, игнорируя грозные окрики конвоя, подходили ближе и спрашивали: «Откуда вы?»

Нас остановили перед дощатым забором. Вышел человек со списком в руках, и мы не поверили собственным глазам.

— Головин! — вырвалось у нас.

Да, это был Головин, заместитель начальника спецотдела НКВД Грузии. Несколько месяцев назад Головин добился перевода в распоряжение НКВД СССР. И вот он в Соловецкой тюрьме принимает нас, заключенных.

— Вот это хорошо, — обрадовались мы. — Неплохо иметь своего человека. Конечно, он нас не разлучит.

В первую партию из десяти человек включили из нас троих только меня. Головин посмотрел на меня отсутствующим взглядом, спросил фамилию, имя, отчество. Опросив всех, Головин приказал:

— Уведите!

— Сделайте, пожалуйста, чтобы Мгебришвили, Хвойник и я были вместе, — попросил я.

Головин косо посмотрел на меня, ничего не ответил, а конвоир гаркнул: «Разговоры!»

Мы очутились в корпусе. Произвели обыск, сняли с нас пальто, отобрали личные вещи, продукты питания, табак, которым мы запаслись в Тбилиси изрядно. Мы просили оставить нам пальто и дать немного табаку.

— В камерах жарко, пальто вам не понадобится. Продукты и табак дежурные будут давать вам понемногу. Не беспокойтесь, ничего вашего не пропадет, — успокоил нас старший надзиратель.

После окончания этой процедуры мы в сопровождении двух надзирателей поднялись на второй этаж. Шли по длинному коридору. Все двери камер были заперты большими висячими замками. Одна камера была открыта настежь. Нас ввели в нее. Большая, с двумя окнами, с деревянным полом. И достаточно светлая, хотя на окнах снаружи были козырьки. В два ряда стояли деревянные койки, по пять коек в ряду. Между ними проход. Стол — ближе к двери, а у самой двери — параша.

На стене висели правила внутреннего распорядка тюрьмы. Строгие правила: не шуметь, не петь, громко не разговаривать, выполнять все требования тюремной администрации; переписка с родными только с разрешения начальника тюрьмы. Получать деньги в пределах 50 рублей в месяц, никаких свиданий с родными не разрешалось, нельзя было получать продуктовые посылки... За нарушение какого либо пункта «правил» заключенные будут наказаны карцером до 5 суток, лишением права переписки сроком до трех месяцев, и так далее.

Мои сокамерников не помню, за исключением одного — инженера-железнодорожника Харебова. Много общего было между Хвойником и Харебовым. Харебов тоже нервничал по каждому поводу и боялся расстрела.

— Не может быть, чтобы государство тратило огромные деньги на длительное содержание такого количества арестованных, это безумие, — говорил он, — поэтому нас всех расстреляют.

Каждый раз, когда двери камеры открывались, Харебов забивался в угол и дрожал.

Не прошло и часа, как нам принесли хлеб. Первую пайку Соловецкой тюрьмы. А сколько впереди? Нам было объявлено, что наша дневная порция — 700 грамм хлеба. Вслед за хлебом принесли обед. Каждый из нас подходил к форточке и получал суп в стандартных эмалированных мисках. Мы сильно проголодались в дороге и суп показался нам очень вкусным. Каково было наше удивление, когда нам предложили получить второе. Нам дали по большому куску жареной трески. Одни тут же принялись за рыбу, другие решили оставить ее на ужин.

Через некоторое время велели приготовиться к прогулке.

— Одевайтесь теплее, на дворе мороз. На прогулку выходят желающие.

Нежелающих не оказалось, а предупреждение «одеваться теплее» было излишне, так как наши пальто были отобраны.

Нас вывели на задний двор корпуса. Там были прогулочные дворик — высокие дощатые клетки размером приблизительно 5 на 5 метров. Таких двориков

было четыре. Наверху, по длине всех четырех дворики, был устроен мостик. Оттуда за гуляющими наблюдал надзиратель. Кроме того, в дверях, ведущих в дворики, имелись «глазки», точно такие, как в дверях камер. Второй надзиратель наблюдал за прогулкой через «глазок». Мы никак не ожидали такой строгой изоляции и были очень удручены этим.

Во дворике нам предложили построиться по одному, в затылок. Первому было предложено шагать медленно, а каждый последующий должен был смотреть на каблук переднего.

Посредине прогулочного дворика была могильная плита. Я вышел из шеренги, подошел к плите, чтобы прочесть надпись. Надзиратель велел сейчас же войти в шеренгу, иначе всю камеру лишат прогулки. Но, гуляя, я сумел прочесть надпись. Это была могила атамана Запорожской Сечи Кольнышевского, сосланного в Соловки на 25 лет Екатериной Второй. Он родился в 1696 году и умер в 1808, захватив в своей жизни три века. По отбытии срока ссылки ему было разрешено проживание на родине, но «он не захотел оставить сию обитель, где обрел смиренность христианина», как гласила надпись, и через несколько лет умер на 112-м году жизни.

Быстро стемнело.

Мы не поверили своим ушам, когда нам предложили получить ужин. Дали кашу.

— Это санаторий, а не тюрьма!

— Так я с удовольствием просижу десять лет.

— Вот где нарушение Конституции: мы не работаем, а едим.

После ужина получили кипяток, затем была оправка, а когда вахтер объявил: «Отбой, можете ложиться спать», — многие давно уже храпели.

Первый день пребывания в Соловецкой тюрьме кончился. За ним последовал второй, как капля воды похожий на первый, затем третий.

Давно был объявлен отбой, и камера спала. Вдруг послышался необычный шум в коридоре. Мы были встревожены. Очередь дошла до нас:

— Вставайте, одевайтесь! Приготовьтесь с вещами. Одевайтесь потеплее на выезд.

Моментально поднялись все.

Предположениям не было конца.

— Куда могут нас вывести в такое время?

— Странно, что все это значит?

— Неужели сами не знают, что у нас нет пальто и мы никак не можем одеться теплее?

— Неужели опять в этап?

Чёрез несколько минут вызвали меня и одного армянина по фамилии Карапетян. Он был рабочим тбилисской обувной фабрики.

В коридоре присоединили к нам людей из других камер, и когда нас стало десять человек, всех вывели во двор. Во дворе стояла грузовая машина. Вынесли наши вещи. Каждый узнал свой узел. Мы просили разрешения взять из узлов пальто, но нам отказали. Вещи погрузили в машину, а потом посадили нас. По углам машины заняли места конвоиры с винтовками. Старший по конвою объявил, что всякие разговоры и шушуканье категорически запрещены. Нельзя также шевелиться. Малейшее нарушение этого правила будет считаться попыткой к бегству, и конвой без предупреждения применит оружие.

Машина тронулась и темнота поглотила нас. Видно было, что мы едем по лесу. Карапетян, сидевший рядом, толкнул меня в бок и указательным пальцем сделал жест, означающий, что нас везут на расстрел. Ехали мы больше получаса. Окоченели все. Наконец показались огни. Машина остановилась. Открыли задний борт и скомандовали:

— Вылезай!

Нас ввели в совершенно пустую камеру и закрыли дверь. Пахло сыростью. Было холодно, стенная печь не топилась.

Что все это означает, куда нас завели? — недоумевали мы.

— Неужели вы не видите, что это настоящая камера смертников? — авторитетно заявил Карапетян. — Мне не приходилось бывать в камерах смертников,

но я слышал, что в них не держат никаких предметов. Даже параша нет... Ох, хоть бы сто граммов трахнуть перед смертью!

Возможно, Карапетян прав, но не следует заранее ложиться в могилу. Увидим.

Нас держали в неведении около двух часов. Затем вывели всех и повели в другую комнату в том же коридоре. Комната была жарко натоплена. Много было там тюремного персонала. Нам предложили раздеться догола, сперва постригли, а затем произвели тщательный обыск. Я не оговорился — голого человека обыскивали тщательно: смотрели во рту, в ушах, в заднем проходе. Предлагали растопырить пальцы и смотрели между пальцами. Затем составили опись наших вещей, включая и одежду. Выкинули из вещей весь табак. До нас этой процедуре были подвергнуты другие, и в углу образовалась целая гора табака. Записали деньги, отобранные в Тбилиси. Предупредили, что если в вещах имеются зашитые деньги, надо заявить и в таком случае они будут включены в опись, а если они обнаружатся потом, то будут конфискованы. По окончании всех этих процедур каждый из нас подвергся тщательному медицинскому осмотру. Тюремный врач измерял температуру, подробно расспрашивал нас, записывал ответы.

— На что жалуетесь? — спросил он меня.

— На сильные головные боли, мигрень со рвотой, на сердечные приступы с резким падением пульса, на...

Он не дослушал моих жалоб.

— Все это результат переутомления. В тюрьме вы не будете работать, и эти явления пройдут.

Медосмотр закончился.

— Обувь временно останется у вас, можете обуваться, — распорядился один из начальников. Тогда мы не поняли значения этих слов.

При нас все вещи, в том числе и наши носильные, связали в отдельные узелки, нацепили на них бирки и квитанции с описью прицепили к биркам. Каждый из нас своей подписью подтвердил, что опись вещей составлена правильно.

Последовала команда:

— Выходите!

Перед тем, как вывести нас предупредили, что категорически запрещается разговаривать.

Вышли в коридор, и сразу озноб охватил нас. зуб на зуб не попадал. В сопровождении двух невооруженных конвоиров вывели из коридора и повели куда-то в темноту. Только белизна снега помогла нам с трудом разглядеть узкую тропинку, по которой мы шагали гуськом. Один конвоир шел впереди, другой замыкал шествие.

Куда мы идем? Куда могут вести голых людей ночью, в сорокаградусный мороз?

«Конечно на расстрел, — думал каждый из нас, на этот раз и я тоже. — Больше некуда. Где-то ждут нас вооруженные люди, и мы делаем сейчас последние шаги на этом свете».

Прошли мы шагов около трехсот. Впереди показался тусклый огонек. Еще несколько шагов, и мы увидели какое-то низкое строение. Нас ввели туда, и только здесь мы поняли, что попали в... баню.

— Мойтесь быстрее, вам дается двадцать минут! — распорядился конвоир.

Надо ли говорить, какое это было блаженство для нас, окоченевших людей? Бане мы отдали должное, выкупались на славу, терли друг другу спины, обливались полными ушатами горячей воды.

Мы не только мылись, мы праздновали наше второе рождение, ведь мы были уверены, что утро наступит не для нас.

Когда, помывшись, вышли в предбанник, увидели десять комплектов одежды, совершенно новой, начиная с нижнего белья и кончая ватными бушлатами. Не были забыты также головные уборы — фуражки.

— Скоро фуражки заменим шапками, — сказал конвоир.

Когда мы оделись, он в нарушение правил, запрещавших персоналу вступать с нами в разговоры, сострил:

— Ишь ты, как нарядились, словно к тещам на блины собрались!

Нас вернули той же дорогой и завели в ту же камеру, но теперь здесь стояли десять деревянных нар с матрацами, набитыми сеном, одеялами, постельным бельем, подушками, тоже набитыми сеном, полотенцами. Длинный стол, около дверей большая деревянная параша. На стене — знакомые нам «правила».

Начался было спор из-за мест, но в камеру вошел старший надзиратель со списком, каждому указал место и предупредил, что меняться нельзя. Дальше он разъяснил, что номер нар является номером заключенного и что фамилию свою можно забыть, но номер — нельзя.

Я оказался номером седьмым. Кстати, и камера эта была седьмая.

Итак, нас в камере десять человек, и все из Тбилиси.

Александр Джорджадзе — профессор, железнодорожник. Почтенный старик 75-и лет, окончил Ленинградский институт железнодорожного транспорта, стал высококвалифицированным специалистом-мостовиком. Его имя было хорошо известно в Советском Союзе. Имел труды по мостостроению.

Гоги Мамулашвили — сын известного не только в Советском Союзе, но и за рубежом цветовода Михаила Александровича Мамулашвили.

Гоги Мамулашвили. В первые годы после установления в Грузии Советской власти с группой молодых людей был послан в Германию на учебу. Вернулся на родину с дипломом инженера и бесценно работал на железнодорожном транспорте.

Василий Киквидзе. Он обвинялся в том, что по заданию своего дяди Михаила Окуджава проводил троцкистскую работу. Он твердо верил в силу какого-то документа, что у него сохранился.

— Понимаете, какое дело, — говорил Киквидзе, — у меня есть документ о том, что в тот самый момент, когда я якобы по заданию моего дяди ездил в район и вел троцкистскую работу, я находился в Москве, учился и работал. Есть справки с места работы и учебы. Я хотел обмануть следователя и ему ничего не говорил об этих справках. Я очень рассчитывал, что суд учтет, но этого не случилось. Но я думаю, что справки помогут мне восстановить истину.

Канделаки. Молодой аджарец. Недавно окончил педагогический институт и начал учительствовать.

Кучухидзе. Ему едва исполнилось 17 лет. Он учился в восьмом или девятом классе средней школы. Несмотря на молодость, обвинялся не только во вредительстве, диверсии и подготовке террористического акта, но и в участии в «молодежной организации фашистско-народнического направления». Он болел туберкулезом легких, и позже я узнал, что он умер в соловецкой тюрьме.

Микая — инженер-строитель; Месхи — малограмотный парень 18 лет, работник буфета станции Боржоми; Каралетян и Козинцев — оба рабочие, Джорджадзе и Месхи — беспартийные, Кучухидзе — комсомолец, остальные семь человек — коммунисты.

Мы узнали, что находимся на одном из островов Соловецкого архипелага, на острове Муксалма, в 11 километрах от центрального острова, с которым Муксалма соединен дамбой.

После не совсем обычной прогулки в баню никто из нас не заболел даже насморком. Джорджадзе, 75-летний старик, изнеженный организм которого никогда до тюрьмы не испытывал трудностей, говорил:

— Если мне суждено будет выйти отсюда и рассказать все это, меня примут за сумасшедшего. Или скажут, что в тюрьме я научился врать.

За исключением Джорджадзе и Киквидзе, все остальные были курищими, даже семнадцатилетний Кучухидзе. Мы все ругались из-за того, что весь табак отобрали и ни щепотки не дали.

— Немедленно прекратите разговоры и ложитесь спать! — раздалась команда коридорного.

Мы быстро и беспрекословно выполнили эту команду.

Утром Джорджадзе, Мамулашвили, Киквидзе и я признались, что провели бессонную ночь. Слишком много было впечатлений.

День начался, как и следовало, с оправки. Потом раздали хлеб, дали всем по повенькой кружечке, принесли чайник с кипятком и сахар в мешочках.

— Сахар рассчитан на десять дней. Освободите мешочки и верните, — приказал коридорный.

Мы на глаз определили, что нам дали по 200 граммов сахара. Значит, 20 граммов в день.

Последовала команда:

— Приготовиться на поверку!

По всей вероятности, кончились этапные мытарства и мы начали по-настоящему отбывать срок.

ОСТРОВ МУКСАЛМА

— Поверка! — крикнул надзиратель, открывая дверь.

Мы кинулись из камеры, полагая, что считать нас будут в коридоре, как иногда делали в тбилисской тюрьме.

— Куда прете? — закричал надзиратель.

Мы отпрянули назад, и сейчас же в камеру вошел человек, производящий поверку — старший по корпусу, или «корпусной». Он был весь в черном. Черная шинель, застегнутая на все пуговицы, черная шапка. Маленькое серое лицо, нос как птичий клюв, маленькие бегающие глазки. В руке деревянный молоток. Поздоровался с нами и сделал замечание, что мы неправильно его принимаем. Оказывается, мы должны стать в шеренгу по одному и ждать его прихода. Затем он подошел к окну и стал выстукивать решетки. Убедившись, что никто за ночь не переписал решетки, он собрался уходить, но мы его остановили:

— У нас много вопросов, с кем мы будем разрешать их?

— Никаких вопросов, понятно? — буркнул он и вышел.

Кличка напрашивалась сама собой, и несколько голосов почти одновременно произнесли:

— Настоящий черный ворон.

Потом мы узнали, что во многих камерах его именно так и прозвали.

Очень хочется курить!

Некоторые терпели это лишение молча, некоторые сеговали вслух:

— Я бы отказался от пайки за одну папироску.

— Я бы пошел в карцер на сутки за папироску.

— Я бы не прочь за каждую папироску отсидеть лишнюю неделю.

— Неужели заставят нас бросить курить?

— Эх, какой табак у меня отобрали!..

— Помолчите, администрация тюрьмы оберегает наше здоровье.

Вскоре в камеру вошли двое. Один из них с блокнотом. Вежливо поздоровались.

— Мы представители тюремной администрации, — сказал тот, что с блокнотом. — У кого есть вопросы?

Вопросы посыпались градом.

— Не все сразу, давайте по очереди.

— Будет ли разрешена переписка с родными?

— Сегодня же дадут бумагу каждому, кто хочет переписываться с родными. Напишите заявление на имя начальника тюрьмы. Переписка будет разрешена только с одним родственником. К родственникам мы относим жену, мать, отца, сына, дочь, брата и сестру. В заявлениях должны быть указаны фамилия, имя, отчество, степень родства, род занятий, возраст и национальность того, с кем хотите переписываться, и, конечно, адрес. Вам будет разрешено писать по два письма в месяц и столько же получать.

— Мы хотим обратиться в директивные органы с заявлением по поводу следствия, суда и несправедливого осуждения. Как это сделать?

— Раз в месяц вам будет выдаваться бумага для заявления, один стандартный лист. Писать будете простым карандашом. Предупреждаю, к руководителям партии и правительства нельзя обращаться со словом «товарищ». Такие заявления отправляться не будут.

— Получим ли книги для чтения?

— Да, книги вы получите. По одной книге на человека на десять дней.

— А игры?

— Какие игры?

— Шахматы, шашки, домино...

— Здесь тюрьма, а не клуб. Никаких игр!

— Нельзя ли получить хотя бы небольшую часть отобранного у нас табака?

— Нет. В камере не разрешается иметь табак. Кто имеет на счету деньги, может выписать папиросы из нашего ларька. Можете выписать и продукты, какие имеются в ларьке. Раз в десять дней будет выписка продуктов из ларька.

— У нас нет носовых платков. Нельзя ли получить их из наших вещей?

— Нет, из ваших вещей вы ничего не будете иметь в камере. Свою обувь вы носите временно. Скоро получите тюремную обувь. Что касается носовых платков, то вы получите их в бане.

— Дадите ли нам работу?

— Вы осуждены к тюремному заключению, а в тюрьме нет никаких работ.

— Будем сидеть под замком весь срок и ничего не делать?

— Конечно, а как вы думали?

— Можем ли иметь тетради в камере?

— Да, каждый из вас, у кого есть деньги на счету, может выписать из ларька тетради и простые черные карандаши. Тетради будут находиться у старшего по корпусу, а в камеру положено давать по две тетради. Когда эти тетради будут исписаны, вы их сдадите дежурному и после проверки получите новые. Предупреждаю, использовать тетради для заявлений не разрешается. Листы тетрадей будут пронумерованы, вырывать их нельзя. Нарушители будут строго наказаны и навсегда лишены права иметь тетради в камере.

— Можно покупать тетради для тех, у кого нет денег?

— Нельзя.

— Дадите нам почитать газеты?

— Газеты будете выписывать сами. Одна газета на камеру. За ваш счет.

После того, как с вопросами было покончено, работник перешел к наставлениям:

— Первое. Вы обязаны строго соблюдать правила внутреннего распорядка тюрьмы. Нарушение любого пункта этих правил влечет за собой строгое наказание, а злостные нарушители будут привлечены к уголовной ответственности. Второе. Не разрешаются выборы старост. Для соблюдения чистоты будете дежурить по очереди. В камере должна быть идеальная чистота. Третье. Хотя в правилах не указано, но учтите: днем не разрешается лежать или спать. За нарушение будем строго наказывать. После обеда будет разрешено лежать один час.

Они ответили на многие наши вопросы, мы остались довольны их посещением.

Принесли бумагу для заявлений о переписке. Я решил, что будет лучше, если я начну переписываться с матерью. Так и сделал — попросил разрешения переписываться с матерью.

Принесли талоны для выписки продуктов из ларька. Сказали, что в ларьке есть хлеб, сахар, лук, чеснок, корейка и папиросы.

Итак, скоро, скоро закурим.

Мы надеялись, что через пару часов нам принесут наши заказы, но пришлось ждать... четыре дня.

Принесли все кроме спичек.

— А спички?

— Спичек нет.

Вот это здорово! Папиросы есть, а спичек нет. Мы тогда не знали, что по способу первобытного человека можно в камере при помощи ваты из бушлата получить огонь. С тоской мы смотрели на папиросы и... страдали.

Помню, как самый молодой курильщик Кучухидзе подошел к двери, робко постучался, вызвал надзирателя и попросил:

— Пжалуста, один штук спичка. Папирос ест, спичка нет, курит очен нада.

Надзиратель сердито захлопнул форточку и ничего не сказал. Им вообще было запрещено разговаривать с нами.

Прошло некоторое время. Вдруг форточка открылась, и надзиратель громко и сердито сделал нам замечание:

— Прекратите шум! Сколько раз надо предупреждать? — с этими словами он бросил в камеру коробок спичек и захлопнул форточку. Затем он через «глазок» посматривал, какую реакцию произвел его поступок.

Мигом набросились на спички и послали ему воздушные поцелуи.

— Душка, хороший, маладец! — говорил Кучухидзе.

Сразу задымили все. Джорджадзе начал чихать и кашлять.

— Ну вас к лешему! Курите хоть по очереди, что ли.

Киквидзе по-своему решил этот вопрос:

— Лучше самому курить, чем дышать этим воздухом, — сказал он, попросил папиросу и задымил.

В камере появился девятый курильщик.

В целях экономии спичек мы решили держать в камере «вечный огонь». Курили по-одному. Курили не спеша и по очереди прикуривали друг у друга. Как только девятый курильщик делал последнюю затяжку, «эстафету» от него снова принимал первый.

Носовых платков мы так и не получили. На наши просьбы нам отвечали:

— Когда будут, тогда и получите.

— Но когда же будут? Ведь нельзя без носовых платков.

— Какие вы непонятливые люди! Вам сказано ясно: когда будут, тогда и получите.

Ну как, в самом деле, не понять такой ясный ответ?..

Однажды зашел к нам начальник корпуса. Маленький, плюгавенький человек.

— Скажите, пожалуйста, когда вы нам дадите носовые платки? — спросил я.

— Носовые платки? — усмехнулся он. — А может быть, вам салфеточки подать?

— Простите, когда я задал этот вопрос, то думал, что вы отличаете носовой платок от салфетки.

Он косо посмотрел на меня, но не нашел, что ответить. Перед тем как выйти из камеры, обратился ко мне и сказал:

— Не забывайте ни на минуту, что вы теперь заключенные. Между вашим прежним положением и нынешним нет ничего общего. Понятно? — И добавил: — Ничего, без платков как-нибудь проживете.

Мы не только привыкли жить без платков, но и вовсе отвыкли от них. А когда наконец получили, я заплатил карцером за свой платок. Видите ли, я посмел постирать его в уборной. Но об этом попозже.

— Приготовиться к прогулке!

Это была наша первая прогулка на острове Муксалма. Прежде чем нас вывели на прогулку, в камеру вошел старший по корпусу, разъяснил правила прогулки и предупредил, что если кто-нибудь нарушит их, вся камера будет лишена прогулки, а виновник нарушения пойдет в карцер.

Продолжительность прогулок в первое время была 15 минут, а затем 30. Прогулочные дворики такие же, как и на центральном острове.

Принесли и книги. 10 книг на 10 человек на 10 дней. Некоторые из нас жадно набросились на книги, а некоторых они вовсе не интересовали. Карапетиану, Козинцеву и Месхи они были совершенно ни к чему. Кандалаки и Кучухидзе хотели бы иметь книги на грузинском языке. Среди книг были такие: учебник по арифметике Киселева, какая-то часть грамматики русского языка, кажется, Шаширо, «Мойдодыр» Чуковского... Итак, книги есть, а читать нечего.

В положенные дни мы получали бумагу для заявлений. Никто от бумаги не отказывался, все сосредоточенно писали заявления о судебных ошибках и недоразумениях, о клевете и оговоре. Как правило, никто никакого ответа не получал, но в очередной «положенный день» каждый из нас писал и писал.

Первые письма домой уже были написаны. Случаев отказа на переписку со стороны тюремной администрации не было. Вторые письма тоже были написаны, но ответа пока никто не имел.

Каждый из нас с нетерпением ждал весточки от своих родных.

Произошел любопытный случай.

За громкий разговор в камере Микая был наказан лишением права переписки на месяц. Он тяжело переживал это наказание и просил начальника тюрьмы заменить его пребыванием в карцере. Ответа не получил.

При очередном посещении камеры начальником корпуса Микая вторично попросил об этом. Начальник корпуса записал в блокнот просьбу Микая и сказал:

— Я передам начальнику тюрьмы вашу просьбу, но вряд ли из этого что получится. Будете сидеть без переписки.

В тот же день тот же начальник корпуса принес Микая письмо. Это письмо было первым и, таким образом, его получил «лишенный переписки» Микая. Разумеется, каждый из нас хотел бы быть на месте Микая. Но мы все обрадовались его счастью. Ведь это означало, что наши письма посланы и мы тоже получим ответы.

Затем письмо получил Гоги Мамулашвили. Писал отец Мамулашвили и сообщил, что жена Гоги родила сына, которого в честь отца называли Гоги. Мамулашвили обрадовался письму, обрадовался благополучному разрешению жены от бремени, но тяжело переживал, что сына называли его именем. По грузинским обычаям нельзя детей называть именем живых родителей.

— Итак, меня уже считают умершим, — сокрушался Гоги.

Радость от рождения сына была омрачена.

Мы утешали его как могли.

После этих двух писем наступило затишье.

Мы уже написали по несколько писем, но ответов не было. Каждый из нас тяжело переживал это. Мы знали, что наши жены подвергаются репрессиям, и каждый беспокоился за свою жену.

Джорджадзе шутил:

— Я имею преимущество перед вами, я холостой...

Но он очень беспокоился о своей матери.

— Она скоро отметит столетие со дня рождения. Ее, конечно, никто не тронет, но и я ее не увижу. С трудом она притащилась в тюрьму на свидание со мной. Я знал, что это было наше последнее свидание, и попрощался с ней навсегда.

Джорджадзе всегда говорил о своей матери с нежностью, с трогательной, сыновней любовью.

Начались однообразные тоскливые дни. Каждый по-своему коротал время. Месхи и Карапетян, несмотря на молодость, любили спать. Им это удавалось вопреки категорическому запрету. Спали они сидя, замаскировавшись книгами. Клали книги перед собой на колени и делали вид, что читают. Надзиратель строго следили, чтобы никто не спал, даже не разрешали облокачиваться о койку, а Карапетян и Месхи спали себе, сидя прямо.

Однажды Киквидзе облокотился о спинку койки и опустил голову.

— Сидите прямо, что это вы разлеглись? — сделал ему замечание надзиратель.

— У меня очень болит голова, — оправдывался Киквидзе.

— Никакой головы, понятно! — грозно произнес надзиратель. С того дня он был прозван нами «никакой головы».

Джорджадзе, перелистав учебник арифметики Киселева, сделал для себя вывод, что если бы его проэкзаменовали по арифметике, то единица была бы ему обеспечена. Профессор забыл элементарные правила.

Мамулашвили занимала мысль о рационализации резки концов рессор при их изготовлении. Когда у него в голове созрела идея, он сделал в тетради кос-какие расчеты и попросил дать ему бумаги, чтобы написать в народный комиссариат путей сообщения заявление о своем изобретении. Ему сказали:

— Не ваше дело заниматься изобретательством. Вы вредитель, а не изобретатель.

Канделаки пел. С утра до вечера он напевал одну-единственную песню:

Сердце, как хорошо, что ты такое,
Сердце, как хорошо на свете жить.
Сердце, как хорошо, что ты такое,
Спасибо сердце, что ты умеешь так любить.

Больше ничего. Не только перепутал слова, но и мотив перевирал ужасно и пел на манер турецкого «баяти».

Когда его просили замолчать, он слушался, но через пять минут снова:

Сердце, как хорошо...

Я ходил. Это было мое основное занятие. Каждый день вышагивал в камере 15—20 тысяч шагов. И... пререкался с надзирателями. Многие предсказывали, что мне не миновать карцера за беспокойную натуру. И в самом деле, первым из нашей камеры в карцер попал я, но вовсе не из-за пререканий, а за стирку носового платка в уборной. Мне попался в бане хороший платок, я не хотел расстаться с ним, поэтому не менял его. И вот решил под умывальником его постирать. Но в уборной мы тоже находились под постоянным наблюдением. Надзиратель увидел, донес начальству, и меня посадили в карцер на пять суток.

Карцер находился в полуподвальном помещении. Наверху, под высоким потолком — большое решетчатое окно, но без стекол. Температура почти такая, как на дворе. Пол земляной, по углам глыбы камней, покрытые толстым слоем шнея.

С меня сняли бушлат, отняли портянки. Требую дать мне бушлат, холодно.

— В карцере не полагается сидеть в бушлате и в портянках, — заявляют мне.

Параша без крышки, но это не имеет никакого значения, так как все там замерзло. В карцере дается триста граммов хлеба и кипяток три раза в день. На ночь, часом позже после обычного отбоя, занесли в карцер «гроб». Так называли грубо сколоченные доски, на которых разрешалось ночью спать. Сами вахтеры говорили: «Возьмите гроб». Или: «Вынесите гроб».

Стекла окон специально были выбиты, чтобы в карцере было холоднее.

Как я выдержал пять суток холодного карцера — загадка. Никак иначе это не назвать. Хлеб мгновенно исчезал. На третий день пребывания в карцере попался сердобольный надзиратель. Неожиданно он подал мне полную миску супа и сказал тоном заговорщика:

— Съешьте быстрее и верните миску!

Ему недолго пришлось ждать. Миска была опустошена мгновенно.

Никогда в жизни я не ел такого вкусного супа из голов трески. За супом последовала каша, которая исчезла с такой же быстротой. Когда через пять суток меня вернули в камеру, она оказалась мне раем. А трогательное внимание сокамерников облегчило пережитое. Каждый из них старался чем-нибудь выразить свое участие, отложили для меня хлеба, рыбы...

Однажды после обеда Месхи и Карапетян легли, не дождавшись команды «отбой». За Месхи и Карапетяном последовали остальные. Час давно прошел, а команды «подъем» тоже не было. Поднялись без команды. Месхи и Карапетян остались лежать. Надзиратель смотрит в «глазок», но не делает замечания. Странно...

— Неужели снято ограничение и можно лежать на койках сколько угодно? Канделаки взялся проверить это дело.

Он был соседом Месхи по койке. Разулся и лег. Никакого замечания со стороны надзирателя. Козинцев лег, не сняв ботинок, и положил ноги на спинку койки. Надзиратель открыл форточку:

— Вы дома разве в ботинках ложитесь на койку? Снимите ботинки, тогда ложитесь.

Ура! Запрет был снят. Лежи сколько твоей душе угодно. Хотя об этом не было объявлено, но вошло в силу моментально.

Наша камера получала газету «Северная правда». Каждый раз с получением нового номера отбирали старую газету.

Изнывая от безделья, споря друг с другом по каждому поводу, мы прожили до марта 1938 года.

Все мы ждали ответа на наши заявления, надеялись на пересмотр наших дел. Никто из нас не верил в реальность срока, на который мы осуждены. Но ведь дни идут, и недели, и месяцы... А мы сидим.

Получив первую тетрадь, я в ней написал пространное письмо в ЦК. Описал беззакония, свидетелем которых я был, перечислил людей, которые стали жертвой клеветы и оговора, рассказал о пытках, которым подвергались заключенные, о нарушениях советских законов во время следствия и судопроизводства. Исписал всю тетрадь. На первом листе тетради написал заявление на имя начальника тюрьмы и просил переслать мое письмо в ЦК. Я писал начальнику тюрьмы: «Знаю, что нарушаю установленные правила и использую тетрадь не по назначению, но прошу послать письмо по адресу, а меня наказать, если это неизбежно».

Меня не наказали, но послали ли мое письмо в ЦК, до сих пор не знаю.

В марте 1938 года как-то зашел в нашу камеру начальник корпуса и предложил мне и Мамулашвили собраться с вещами. Это было неприятной неожиданностью не только для нас, но и для всех. «Собраться с вещами». Неужели даже здесь, где мы отбываем длительные сроки, мы не избавлены от этого глубоко травмирующего окрика? Сильное волнение охватило всех.

Мамулашвили и я тепло попрощались с друзьями и вышли.

А в камере осталось восемь человек, с которыми мы делили горе и «радости». Да, и в тюрьме бывают радостные события... Мы расстались, а как сложилась судьба каждого из них, мы узнать не сможем, если только какая-нибудь случайность не столкнет с кем-нибудь из них еще раз.

Нас сперва повели в комнату дежурного, произвели обыск, а затем привели в новую камеру на втором этаже этого же корпуса. Показали наши места.

Грешно называть камерой эту большую, светлую комнату с двумя окнами и паркетным полом.

Какая разница между той камерой, где мы были, и этой! Несмотря на козырьки за окнами, в камере было много света. Нас окружили новые люди. Начались расспросы, но узнав, что мы не «свежие», люди были разочарованы.

Выяснилось, что несколько минут назад из этой камеры забрали двоих, а их места заняли мы.

Новыми сокамерниками оказались: Петр Григорьевич Петровский, старший сын известного всем старого большевика, депутата Государственной Думы от большевистской партии, председателя ЦИК Украины Григория Ивановича Петровского; Борискин — руководящий работник Госбанка СССР; Меднис — руководящий работник наркомата земледелия Украины; Уханов — партийный работник, секретарь райкома из Средней Азии; Харченко — научный работник одного из украинских институтов; Штейнберг — сын известного композитора, старейший большевик; и еще двое — армянин из Кахетинского района Грузии и то ли аджарец, то ли турок, единственный беспартийный человек в камере.

В той камере восемь из десяти были коммунистами, а здесь — девять из десяти...

Атмосфера в этой камере была совсем другой. Петровский, Борискин, Меднис рассказывали много интересного из своей жизни. Интересные были ребята Харченко и Штейнберг. Они совершенно разные. Харченко, окончивший аспирантуру научный работник, очень подвижный, веселый, остроумный, внешне красивый, Штейнберг — молчаливый, некрасивый до уродливости, с чрезмерно вытянутыми вперед челюстями и толстыми губами, болезненный, медлительный. От отца он унаследовал музыкальность. Увлечение эсперанто явилось причиной его ареста. Обнаруженные у него записи по эсперанто были использованы следователем как доказательство шпионской деятельности Штейнберга в пользу не одного, а нескольких государств.

Харченко и Штейнберг дружили, инициатором этой дружбы был Харченко. Он проявил особую заботливость к Штейнбергу, дежурил за него. Штейнберг часто говорил:

— Я не знаю, что будет со мной, если нас разлучат...

Петр Григорьевич Петровский, член КПСС с 1916 года, выпускник Института красной профессуры, впервые был репрессирован в 1932 году по обвинению в соучастии в фракционной деятельности, как член «антипартийного бухаринского правого уклона». В 1934 году он был освобожден и работал редактором в одном из издательств.

В феврале 1937 года Петровский был снова арестован. Он, как и многие окончившие Институт красной профессуры, был причислен к так называемой «школке Бухарина» и осужден на 15 лет тюрьмы.

Через месяц после ареста Петровского его жена Клавдия Дмитриевна родила дочь. Петр Григорьевич все время думал о жене, о новорожденном ребенке, об их судьбе. Он не знал, где они находятся, на какие средства живут, и беспокоился. Петровскому было известно, что его зять — председатель Черниговского областного совета депутатов трудящихся Соломон Загер — арестован и расстрелян, и он полагал, что в связи с этим должна быть арестована также его сестра, жена Загера Антонина Григорьевна. Он не знал тогда, что сестра после расстрела мужа уехала из Черногова и этим избежала ареста.

Петр Григорьевич много думал также о своем младшем брате, бывшем командире Московской Пролетарской дивизии Леониде Петровском. Кто-то передал ему в тюрьме, что Леонид Петровский также арестован и расстрелян. Петровский был уверен, что брата нет в живых, и тяжело переживал его потерю. Спустя много лет я узнал, что сведения, которыми располагал Петровский, не соответствовали действительности, что Леонид Петровский не был арестован. В 1938 году он был исключен из партии, но в 1940 году его восстановили и назначили командующим Саратовским военным округом. В августе 1941 года Леонид Петровский погиб на одном из фронтов Отечественной войны.

Петр Григорьевич много говорил о своем сыне от первой жены — Лене, думал о нем и часто вздыхал:

— Какая судьба уготована ни в чем неповинному парню, попавшему в такой тяжелый переплет жизни? Что его ожидает?

Тяжело переживал Петр Григорьевич отсутствие писем от жены.

— Эх, Клава, Клава, хотя бы два слова получить от тебя, узнать, где ты, что с тобой, — часто говорил он вслух, как бы продолжая свой разговор с женой.

— У вас нет оснований для беспокойства, — успокаивали мы, — ваш отец, такой известный в стране человек, наверное позаботится о ней, сделает все, чтобы облегчить ее положение.

— Нет, это исключается. И я не имею к нему никаких претензий. Я знаю, в каком трудном положении находится мой отец. Более того, меня тревожит и его судьба: два сына объявлены врагами народа, один из них расстрелян, зять тоже расстрелян, дочь и невестка арестованы. Каково ему, а?

Да, трудно было возразить.

В те дни в газетах печатали отчеты о так называемом «Бухаринском процессе». Как известно, только трое после этого процесса получили сроки: Плетнев — 25 лет, Раковский — 20 лет и Бессонов — 15 лет. Все остальные были расстреляны.

В газетах все чаще и чаще стали появляться сообщения и даже большие статьи о клеветниках и оговорщиках. Приводились примеры, сообщались фамилии лиц, привлеченных к ответственности за клевету. Сообщались фамилии и тех, кто был невинно осужден, но выпущен на свободу и реабилитирован. Мы читали в газетах выступления, кажется, Жданова на пленуме ЦК о клеветниках. При этом он в качестве примера назвал фамилию Кудрявцева, который «оговорил в своих показаниях половину киевской партийной организации».

На многих из нас эти сообщения произвели большое впечатление. Мы потеряли покой. Наконец-то лед тронулся, дошло все до Сталина, и колесо будет вертеться в обратную сторону, начнется пересмотр дел, снова все станет на свои места. Каждый из нас был уверен, что если невинно осужденных людей выпускают на свободу и реабилитируют, то именно он должен быть одним из первых реабилитированных. Неужели все это не за горами? Неужели скоро будем на свободе?

Харченко обрадовался больше всех. Он был арестован в Киеве по оговору Сергея Кудрявцева.

— Я один из тех, о которых говорил Жданов. Скоро нас попросят отсюда. Эх, если бы вы знали, какая у меня тема осталась незаконченной! Наконец-то я вернусь к своей теме...

Меднис, степенный и малоразговорчивый человек, говорил медленно, отчетливая каждое слово:

— Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Все это сказано для успокоения умов. Я тоже украинский работник большого масштаба. Я тоже оговорен Кудрявцевым. Жданов называет его врагом народа. Чепуха это. Кудрявцев честный человек. Он вовсе не виновен в том, что людей оговаривал. Вот если оправдают Кудрявцева и многих других крупных «кудрявцевых», которых знает вся страна, тогда я поверю, что очередь дойдет до нас. Пока этого нет, нам нечего ждать.

Меднис говорил, что все это лицемерие со стороны тех, в которых мы продолжаем верить.

— Какие наивные люди, — говорил он. — Будто Сталин не знает, что творится! А вы утверждаете, что, мол, теперь дошло все до Сталина и появились клеветники и оговорщики.

— А зачем это надо? Для чего такое, как вы говорите, лицемерие?

— Как зачем? Сколько людей уничтожено, сколько сидит, сколько семейств разрушено, сколько детей оставлено сиротами! Вы думаете, не говорят о массовых необоснованных арестах? Говорят, да и не только у нас говорят. Что же им остается делать? Показать, что у нас кое-где выявлены оговорщики и клеветники, они привлечены к ответственности, оговоренные ими невинные люди освобождены. Отсюда напрашивается вывод: те, кто наказан, правильно наказаны. Вот как!

Петровский во всем соглашался с Меднисом. Он не ждал никаких изменений, никакого пересмотра дел и говорил, что если нами займутся, то в худшую сторону.

Но Харченко надеялся и ждал. По-прежнему он писал заявления. Теперь он ссылался на речь Жданова: «Я один из тех, о которых говорил Жданов», — писал он. «Я один из оговоренных врагом народа Кудрявцевым...», «Мое осуждение — роковая судебная ошибка», «Я честный, невинный человек, жертва клеветы и оговора», и так далее.

Писал и ждал, ждал и снова писал.

Писал не только Харченко. Мы тоже писали, мы тоже надеялись. Но по-прежнему никто не получал ответа на свои заявления.

— Нас очень много, — утешал себя Харченко, — очередь еще не дошла. Мы тоже рассуждали так.

— Ну, старик, — говорил Харченко 23-летнему Штейнбергу, — готовься на свободу. Я согласен, чтобы ты вышел раньше меня, а то одному здесь тебе будет трудно. Сильно-сильно худой будешь на этих тюремных харчах.

Прошли дни и месяцы, а жизнь в камере протекала все так же томительно. Как будто не было никаких выступлений и речей по поводу оговорщиков и оговоренных.

— Нет, такие люди, как Жданов, не имеют права бросать слова на ветер. Как это можно? — говорил Харченко и ждал.

Но время шло. С каждым днем все меньше и меньше верил он в пересмотр дела, но писал и писал: «Меня оклеветал крупный враг народа Кудрявцев...»

Сергей Кудрявцев...

Он долгие годы работал в Закавказье, все время на партийной работе, пройдя путь от инструктора до второго секретаря Закавказского краевого комитета партии. В 1936 году Сергей Кудрявцев был переведен на ответственную работу: вторым секретарем ЦК КП Украины.

Широкоплечий, могучего телосложения, с большой, зачесанной назад шевелюрой, с открытым широким лбом, внимательным выражением умных глаз, неповторимой легкой улыбкой — таков был Кудрявцев. Он не принадлежал к числу тех, о которых говорят: «Власть портит человека». Сергей Кудрявцев был скромным, когда был инструктором, и остался таким же скромным, когда стал крупным руководящим работником.

Кудрявцев отличался прямолинейностью. Мы всегда с большим вниманием слушали его содержательные, яркие, выступления. Помню одно из них. На собрании тбилисского партийного актива обсуждались решения ЦК ВКП(б) о новой Конституции Советского Союза и в этой связи о ликвидации Закавказской Федерации.

Буду Мдивани, тогда заместитель председателя Совнаркома Грузии, решил воспользоваться этим и еще раз заявить о своей точке зрения на Закавказскую Федерацию. Он сказал, что потребовалось столько лет, чтобы убедиться в необходимости Закавказской Федерации. Свое выступление Мдивани закончил так:

— Ну, что ж, мавр сделал свое дело, мавр может уйти.

Выступление Мдивани возмутило присутствующих. Лидер грузинских национал-уклонистов остался верен своим антипартийным взглядам. Последние слова Мдивани были встречены криками: «Позор!», «Долой!», «Не хотим слушать!».

На трибуну поднялся Кудрявцев. Он подверг уничтожающей критике точку зрения национал-уклонистов, сказал о той огромной роли Закавказской Федерации, которую она играла в деле поднятия республик Закавказья до такого уровня, что теперь каждая из них способна к самостоятельному управлению.

— Надо быть слепым, чтобы не видеть роли Закавказской Федерации в цементировании дружбы народов Закавказья, — говорил Кудрявцев. — Она была действительно необходимой и сыграла свою положительную благородную роль...

Настоящий большевик, человек неукротимой энергии, живущий только интересами партии, трибун и организатор. Таким мы знали Сергея Кудрявцева.

В этой камере еще один человек не получал писем.

Петровский не надеялся на ответ. Не зная адреса жены, он послал письмо через какое-то третье лицо и не был уверен в том, что оно дойдет.

Но первое письмо получил именно Петровский.

От неожиданности он побледнел, руки и ноги задрожали, он весь покрылся потом. С трудом дошел до койки, дрожащими руками достал письмо из конверта и, не дочитав до конца, потерял сознание. Вызвали сестру, она сделала укол. Он пришел в себя и зарыдал.

Мы растерялись. Еще не знали содержание письма. Не верилось, что такой спокойный, выдержанный человек мог потерять контроль над собой, мог плакать.

— Ничего, Петя, поплачь, это хорошо, — говорил Меднис.

Слезы немного успокоили его. Мы узнали, что после того, как Петровский был осужден, его жену арестовали, а их грудного ребенка отправили в детский дом. Клавдию Дмитриевну выслали сперва в Уфу, а затем в какой-то район Башкирии. Старикам-родителям Петра Григорьевича удалось забрать ребенка из детского дома, и маленькая Леночка живет у них. Клавдия Дмитриевна писала, что она очень скучает по ребенку, но вынуждена жить в разлуке, так как еще не устроена на работу.

— Письмо хорошее, а мы думали, что новое несчастье.

— Вы извините мне слабость. Не всегда человек может быть хозяином своих чувств, — оправдывался Петровский.

Я еще ничего не получал из дома. Не знал, что там делается. Я был уверен, что Люба арестована. Эта мысль не давала мне покоя. После отбоя я лежал с открытыми глазами и не мог уснуть. Эта самое хорошее время думать, никто не мешает тебе. И я думал.

Рядом со мной лежал Меднис. Он тоже долго-долго лежал с открытыми глазами.

— Хватит думать, — иногда советовал он. — Пора спать, при нашем положении надо беречь себя и ждать...

Прошла долгая соловецкая зима.

Настало лето с белыми ночами. Настал день, когда исполнился ровно год со дня моего ареста — 7 июля 1938 года.

День был обычный, как все остальные.

Давно был объявлен отбой. Одни спали, другие думали. Как обычно, я лежал

с открытыми глазами. Вдруг загремел замок, закрипела обитая железом дверь. За все время нахождения в соловецкой тюрьме это был первый случай, когда после отбоя открылась дверь камеры.

Вошли двое — дежурный и какой-то сотрудник тюрьмы — и назвали мою фамилию.

— Одевайтесь и выходите. Возьмите только свои вещи, если они у вас есть. Сильное волнение охватило меня. Куда? Зачем?

— Это, наверно, в карцер, — высказал предположение Мамулашвили, который тоже сильно заволновался.

Да, два дня тому назад я поругался с дежурным по коридору, и старший по корпусу обещал посадить меня в карцер.

Нет, на это не похоже. Со своими вещами в карцер не сажают.

На всякий случай попрощался с сокамерниками.

Мамулашвили и я привязались друг к другу. Трудно было расставаться.

— Неужели нас разлучат? — говорили то он, то я.

Мы крепко поцеловались и ничего не могли сказать друг другу.

В комнате дежурного по корпусу произвели тщательный обыск, после чего в сопровождении сотрудника вывели из корпуса. На дворе стояла одноконная пролетка.

Мне предложили сесть в нее, рядом сел сотрудник, и кучер погнал коня.

Дорога была неширокая, гладко утрямбованная, с деревьями и кустарниками по обеим сторонам, словно аллея в огромном парке.

Мне, привыкшему к камерной обстановке, показалось, что я попал в какую-то сказочную страну. Какая пышная растительность, какое сочетание красок, какая ласкающая глаза зелень, и все это при матовом ровном свете чарующей северной белой ночи. Воздух чистый, пьянящий.

Возчик не спешил. Он будто угадал мое желание по возможности дольше насладиться этой дикой красотой...

Я забыл и тюрьму, и свое положение заключенного.

Всю дорогу не проронил ни одного слова.

Я молчал, потому что не имел права говорить и не хотел нарушать тишину этой неповторимой ночи. Сотрудник не говорил, по всей вероятности потому, что устав службы запрещал ему вступать в разговоры с заключенными. Кучер тоже молчал: ведь он тоже был заключенный, хотя в некотором отношении и привилегированный. Умная лошадка шла ровным шагом. Неужели это та самая дорога, по которой в темную лютую декабрьскую ночь нас везли на автомашине в полную неизвестность? Тогда нам эта дорога казалась дорогой в ад, бесконечно длинной, полной тревог и волнений. Да, это была та самая дорога. Какой контраст! Это та самая дамба, которая соединяет центральный остров с островом Муксалма.

Кончилась дорога. Показались золотые купола знаменитого Соловецкого монастыря. Наш экипаж пропустили через железные ворота, и мы остановились у одного из многих тюремных корпусов. Снова меня обыскали. Что могло произойти в дороге, под постоянным наблюдением работника тюрьмы? Ведь произвели же обыск у меня перед тем, как отправиться из Муксалма! Полное недоверие друг к другу. Часть ночи я провел в пустующей камере. На единственной койке кроме матраца ничего не было. Я, конечно, лег, но уснуть не смог.

Неизвестность угнетающе действовала на меня.

За окном стоял невероятный птичий гам. «Это гогочут гуси», — решил я и подумал, что тюрьма имеет свое подсобное хозяйство. «А может быть, я буду работать в подсобном хозяйстве? Но зачем тогда эти предосторожности? Зачем обыски, одиночная камера?» А «гуси» гоготали до утра. Каково же было мое удивление, когда я узнал, что это были не гуси, а... чайки. Каким образом крики чаек я принял за гусиный гогот, не могу понять.

На следующий день меня вызвали в канцелярию тюрьмы, к тому сотруднику, который меня сопровождал. После нескольких «общих» вопросов он заявил, что будет допрашивать меня в качестве свидетеля по делу Мгебришвили и предупредил, что я обязан говорить правду, иначе буду привлечен к уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Мысль заработала лихорадочно. Что это:

пересмотр для освобождения его из тюрьмы, или Кобулов не может простить себе, что живой Мгебришвили где-то отбывает срок?..

Сотрудник спросил, давно ли я знаю Мгебришвили, просил дать его служебную и личную характеристику, изложить, какие отношения были между мной и Мгебришвили. Я ответил на его вопросы. Касаясь личных наших взаимоотношений, я ответил, что их вовсе не было, что Мгебришвили ни разу не бывал у меня на квартире и я никогда не бывал у него.

Мои ответы ему не понравились.

— Вы неискренни, — сказал он, — мы располагаем другими материалами о ваших взаимоотношениях.

«Значит, второе, — подумал я. — Кобулов недоволен тем, что Мгебришвили остался жив».

Вошел средних лет плотный мужчина в штатском костюме.

Следователь вытянулся в струнку.

— Товарищ полковник, оперуполномоченный Вардин ведет допрос заключенного Газаряна!

Тот поздоровался, предложил ему сесть и сказал улыбаясь:

— А я пришел посмотреть на Газаряна.

Он расспрашивал меня, в каких городах и когда работал. Его вопросы не носили характера допроса. Он беседовал. Затем сказал, что моя фамилия ему знакома и он хотел бы выяснить, знали ли мы друг друга раньше.

— Моя фамилия Коллегов. Это вам ничего не говорит?

— Нет, по-моему, я вас не знаю.

Затем во время беседы мы выяснили, что встречались в Москве на одном из совещаний начальников отделов.

Поговорив немного, он встал:

— Ну ладно, мешать вам не буду, — сказал он, обращаясь к следователю, — продолжайте.

Он вежливо попрощался со мной и вышел.

— Так вот, — продолжал свой допрос Вардин. — Вы неправильно ответили на мой вопрос о ваших личных взаимоотношениях с Мгебришвили, мы располагаем другими материалами об этом, но пойдем дальше. Скажите, что вам известно о контрреволюционной работе Мгебришвили, о его роли в контрреволюционном заговоре?

— Я вообще ничего не знаю о контрреволюционном заговоре и не верю в его существование вообще. И свое, и Мгебришвили осуждение я считаю вопиющей несправедливостью. Таким образом, на ваш вопрос я ничего не могу ответить.

Следователь вел себя корректно, не допускал никаких оскорбительных выражений, к которым мы привыкли при допросах в Тбилиси.

Неожиданно он прекратил допрос:

— На сегодня хватит. Писать ничего не будем. Сейчас идите в камеру, подумайте как следует, будем продолжать завтра.

На следующий день он меня снова вызвал.

О Мгебришвили ни слова.

— Сегодня мы поговорим о Кохреидзе.

Те же вопросы, те же упреки в моей «неискренности».

Дальше следователь перешел к Хвойнику. Те же стандартные вопросы.

Итак, после всего пережитого снова следствие, допросы. А какая гарантия, что где-то рядом не сидят в таких же одиночках Мгебришвили, Кохреидзе и Хвойник и не подвергаются допросу относительно меня. Определенно кто-то добивается пересмотра наших дел.

К сожалению, Меднис и Петровский правы в оценке того, что происходит. Нам нечего ждать... Нечего ждать по крайней мере в ближайшее время. Да, похоже на то, что если нами займутся, то только в худшую сторону.

Сон пропал. А чайки с их неистовым концертом доводили до сумасшествия.

Однако этим все кончилось. Никаких допросов больше не было, ни о чем больше не спрашивали.

Спустя много лет я узнал от Мгебришвили, что в те же дни его перевели с острова Муксалма на Центральный остров, держали в одиночке и допрашивали по поводу контрреволюционной работы его, Кохреидзе, Хвойника и Газаряна.

На четвертый день меня перевели в одну из камер в том же корпусе.

СОЛОВЕЦКИЙ ОСТРОВ

Когда я вошел в эту камеру, то вспомнил первую ночь моего ареста, первую камеру-склеп. Разница была в том, что в эту камеру проникал дневной свет.

Спертый, влажный воздух ударил в нос.

Голье люди то и дело вытирались полотенцем. Заметив, что форточка закрыта, я бросился открывать ее.

— Почему вы не открываете форточку? — возмутился я. — Неужели вы не чувствуете, какой у вас тяжелый воздух?

Но меня остановили.

— Не спешите, откроют без вас. Воздух нам дается по норме: через час по часу.

— Ничего не понимаю...

— А что тут непонятного? Форточка открывается на один час, а потом на один час закрывается. Норма, понимаете? А спать человеку воздух вовсе не нужен. На ночь форточка закрыта.

Без меня в камере было десять человек. Я одиннадцатый. Камера вдвое меньше той, что была в Муксалме. Помню некоторых.

Ян Маркелович Ходзинский. Не то энергетик, не то бухгалтер. Работал на Шатурской электростанции. Переехал в Йошкар-Олу и там был арестован. Алексей Мошков. Не успев определить свое место в жизни, он совсем молодым человеком попал в тюрьму. До 1937 года находился в исправительно-трудовом лагере там же, на Соловках, а в 1937 году был переведен из лагеря в тюрьму. Гусев. Инженер-строитель, тоже из соловецкого лагеря, Иван Корниенко — машинист, работал на участке Новосибирск—Тайшет, Шнайдер — немец, работник Загэ-зерна. Каргин — крестьянин из Минусинска. Григорьев — шахтер. Остальных не помню.

За исключением Мошкова и Гусева, все были арестованы в 1937 году.

Все беспартийные, кроме меня.

Да, страшный шквал 1937 года коснулся также и беспартийных, которые отличались от коммунистов, пожалуй, только тем, что не носили в кармане партийного билета.

Перевод в эту камеру я считал применением ко мне репрессии. Никакого сравнения в условиях содержания здесь и там не могло быть.

Начались обычные расспросы. Но я им ничего не мог сказать нового.

Мошков и Гусев, как старожилы Соловков, рассказывали много интересного об этих островах, о жизни соловецкого лагеря до 1937 года, о тюрьмах, построенных на островах с применением новой «тюремной техники» вроде откидных коек и так далее. Они говорили о том, как красива природа соловецких островов, об острове Анзер с горой Голгофа, возвышающейся более чем на сто метров над уровнем моря.

Мне «повезло». Не успел я войти в камеру, как мне предложили выписать продукты. Я выписал белый хлеб, тетради, папиросы и еще кое-что.

— Зря вы выписываете белый хлеб, его вам не дадут, — предупредили меня.

— Как не дадут? В Муксалме, наоборот, не продавали черного хлеба, говорили, что мы и так получаем черный хлеб, а можем выписывать только белый.

— А здесь свои порядки. Здесь говорят, что белый хлеб заключенному противопоказан.

Они оказались правы. Белый хлеб вычеркнули.

— Почему вычеркнули хлеб? — спросил я.

— Еще чего захотели — белый хлеб! — засмеялся ларечник.

Но мое «везенье» с ларьком обошлось мне дорого. И часа не прошло после

выписки продуктов, как старший по корпусу спросил, кто выписал тетради из ларька.

— Я выписал.

— Как ваша фамилия?

— Газарян.

— Получайте, — сказал он, сунул мне две тетради и захлопнул форточку.

Я и все остальные были удивлены. Каким образом мои тетради с такой молниеносной быстротой попали к корпусному? Здесь явное недоразумение. Я рассмотрел тетради и убедился, что они не мои. На обеих тетрадях было написано: «Хозрянов».

Я вызвал старшего:

— Эти тетради дали мне по ошибке. Я выписал тетради только сегодня, так скоро они не могли поступить. Кроме того, здесь написано «Хозрянов».

Он осмотрел тетради, зачеркнул при мне химическим карандашом Хозрянов, написал Газарян и вернул мне.

— Но ведь они не мои, — наставлял я.

— Не мудрите. Дают — значит, надо брать.

Мне тогда было не до тетрадей. Тревожное состояние, в котором я находился, нестерпимая жара и отсутствие воздуха в камере не располагали ни к каким занятиям. Я нашел этим тетрадам другое применение. Я ими обмахивался.

В камере было влажно. Хлеб, полученный утром, к обеду уже плесневел. Параше не было места, и она стояла в непосредственной близости от стола.

Измученные жарой люди не могли одолеть скудный тюремный паек.

Через несколько дней в сопровождении старшего по корпусу в камеру зашел один из тюремных работников.

Он спросил мою фамилию и после того, как я ответил, спросил:

— У вас тетради есть?

— Есть.

— Покажите.

— Я показал.

— Но эти тетради не ваши, каким образом они у вас? — спросил он, рассмотрев тетради.

Я рассказал, как было дело.

— Я отбираю у вас эти тетради, они не ваши.

— Я их не использовал, они совершенно чистые.

На следующий день меня вызвали к начальнику корпуса и объявили, что за присвоение чужих тетрадей распоряжением начальника тюрьмы я наказан пребыванием в карцере на пять суток.

Что это такое? Провокации? Думаю, что да.

В отличие от первого карцера, это была маленькая клетка, без дневного освещения. Воздух поступал из коридора. Параша без крышки. Вонь нестерпимая. Единственное спасение — щель у форточки. Я вспомнил Векслера, который не отходил от щели. Из такой щели я теперь всасывал воздух. Но надзиратели прогоняли:

— Отойдите от щели!

Я не реагирую. Пусть лишний раз откроет форточку. Некоторые попадались на «удочку», и тогда я старался подольше пререкаться, чтобы задержать надзирателя у открытой форточки.

Когда я вернулся из карцера в камеру, там не было никого. «Жаль, — подумал я, — наши уже гуляют, сегодня я не могу воспользоваться прогулкой.» Но прошли полчаса, час, а никто не возвращался. Может быть, они в бане? Но нет, постельное белье в камере.

Сонамерники явились по одному через три дня. Выяснилось следующее.

Утром камера решила отказаться от хлеба. Старшему по корпусу заявили, что не хотят портить государственное добро, так как все равно есть не могут. В тот же день вся камера была наказана на пять суток карцера «за игнорирование тюремной пищи».

Вопрос о форточке разрешился тогда, когда на Соловках выпал снег. Нам

позволили держать форточку открытой без ограничения, но по понятным причинам мы не могли воспользоваться этой добротой.

В этой камере многие наладили связи с домом, получали письма.

Наконец очередь дошла и до меня. Это были несколько слов, написанных рукой Любы на бланке денежного перевода. Она писала, что беспокоилась из-за долгого отсутствия письма, наконец, получила. Я просила писать почаще. Эта весточка меня успокоила. Значит, Люба дома, ну а остальное неважно. За это время я послал домой два десятка писем, куда они девались? Это было единственное письмо, написанное Любой. В последующем переписка наладилась, но письма писались незнакомым мне почерком от имени матери.

Что это значит? Что с Любой?

Хотя в письмах всегда сообщалось, что дома все в порядке, все здоровы, мать и Люба работают, я сомневался в правдивости этих сообщений. «Если с Любой ничего не случилось, почему же она не пишет, хотя бы адрес написала своей рукой, тогда бы я успокоился...»

Из этих писем я узнал, что наша семья выселена из квартиры. Из описания комнаты, куда она была переселена, и расстановки в ней вещей я догадался, что наше имущество конфисковано. Спартак ходит в школу, Майя в детский сад... Но правда от меня была скрыта, и я узнал об этом намного позже...

А камера жила своей жизнью. Ссорились, ругались, спорили, мирились, рассказывали о себе...

Ходзинский и Мошков не любили друг друга. Ходзинский сочинял какую-то «поэму». Мошков, прочитав кое-какие главы, написал такое заключение:

**Да, бывает часто, что уроды,
Измусолив целые тома,
Недостаток собственной природы
Выдают за признаки ума.**

Ходзинского больше всего обидело слово «урод».

— Если у вас рост большой, это не дает вам права называть других уродами! «Большой, да дурной» — слышали народную поговорку?

В самом деле, Мошков был громадного роста, больше двух метров, а Ходзинский коротыш, немногим больше полутора метра. Ровно на полметра ниже Мошкова.

Четыре человека из нашей камеры заболели чесоткой. Шнайдер, Каргин, Григорьев и один сибиряк. Они заявили об этом медицинской сестре. Она записала их фамилии. Я тоже обратился к ней и попросил что-нибудь от головной боли. В тот же день вечером, когда камера готовилась к отбою, в камеру вошел старший по корпусу и предложил Шнайдеру, Каргину, сибиряку и мне одеться. В соловецкой тюрьме была в обиходе команда: «Одевайтесь». Это значит, куда-то должны поехать.

Я понял, что забирают в больницу, и заявил старшему:

— Если хотите перевести нас в больницу, то произошла ошибка. Чесоткой болеет Григорьев, вы его не назвали, а вместо него забираете меня, здорового.

Но разве такие «сложные» вопросы может решить старший по корпусу по своему усмотрению? Что стоило ему пойти и доложить об этом начальству?

— Не ваше дело рассуждать, куда вас поведут, собирайтесь и все. Понятно?

Нас привели в больницу и поместили всех в одну камеру. Я сейчас же вызвал дежурного по больнице и заявил ему о том, что по ошибке заразного больного оставили в камере, а меня, здорового, взяли в больницу.

— Ладно, выясним, — обещал дежурный и записал мою фамилию.

Утром при проверке я вторично заявил об этом сменившемуся дежурному.

Когда же вместо черного хлеба дали нам высококачественный белый хлеб, кто-то заметил, что я напрасно поднимаю шум, что надо пожить несколько дней и питаться больничным лайфом.

На завтрак принесли молоко и по одному яйцу.

Удивительное дело. Неужели на свете еще существуют молоко и яйца?

— Нет, Оганесыч, ты проиграешь, больше не шуми, оставайся и питайся, — заметил кто-то.

— Да, правильно, но я ведь думаю о Григорьеве! Ведь больной человек остался в камере, он заразит остальных.

— Ну и пусть, тем лучше, они тоже попадут сюда и полакомятся молоком и яйцами. Григорьев сам за себя может похлопотать не хуже, чем ты.

Это было резонно.

— Да, больше заявлять не буду, — согласился я.

Вошел в камеру врач и первым делом спросил:

— Кто заявил, что он здоровый?

— Я.

— Раздевайтесь.

Он тщательно осмотрел меня и сказал:

— Хорошо, выпишем.

После обильного и вкусного обеда и такого же ужина, конечно, мне не хотелось расставаться с больницей, но дело было сделано, и после ужина меня вернули в камеру.

Странное дело. Меня выписали из больницы, а Григорьева что-то не берут. Каждый день он заявлял об этом и при проверке, и медицинской сестре, но только через 10 дней его перевели в больницу.

Григорьев вообще отличался своеобразным характером.

Он, например, никогда не вставал при входе в камеру начальствующих лиц. Несколько раз за это он побывал в карцере, но ничего не помогло.

Однажды зашел в нашу камеру сам заместитель начальника тюрьмы Раевский.

Григорьев по своему обыкновению продолжал сидеть.

— Почему вы не встаете, заключенный? — обратился Раевский к Григорьеву.

— А зачем я должен стоять перед тобой? Кто ты мне — командир, что ли, а я твой солдат? Или ты барин, а я твой батрак?

— Я начальствующее лицо, а правила внутреннего распорядка обязывают вас вставать при входе начальствующих лиц. Это одно. Второе, вы не имеете права говорить со мной на «ты».

— Ты начальствуй над своими сотрудниками, а я тебе не слуга. Я не признаю тебя начальником надо мной. Это первое. Второе, на «вы» говорят с человеком, которого уважают, а я тебя не уважаю. А вот ты обязан меня уважать. Я «его величество рабочий класс». Знаешь, кто так сказал?

Раевский, надо отдать ему должное, даже не повысил голоса.

— Вы осуждены как государственный преступник, и мы заставим вас подчиняться правилам внутреннего распорядка тюрьмы. Эти правила обязательны для всех заключенных, отбывающих здесь свой срок.

— Неправда! — возразил Григорьев. — Я не государственный преступник, а потомственный шахтер. Я двадцать лет работал под землей и всю жизнь буду харкать углем, засевающим в легких. Нет, я не государственный преступник. Я и сейчас не пожалею жизни для государства. Это мое государство. Я против него ничего не имею. Меня украли твои чиновники, спрятали от моих товарищей, такие же бездушные чиновники осудили меня тайно, понимаешь ты? Никто не видел и не слышал этого суда. Я тоже не видел. Если я преступник, покажи меня моим товарищам, скажи им, что я такой-сякой, и пусть они меня судят. Почему ты боишься моих товарищей? Почему скрываешь меня от них? Почему ты боишься открытого суда надо мной?

Раевский ничего не ответил на это и, чтобы прекратить неприятный разговор, спросил, у кого имеются вопросы, и поспешно вышел. Ему стоило больших усилий сдерживать себя.

— Ты зря напал на него, — сказал ему Каргин, — он человек маленький, все равно, что заведующий складом. Ему поручили охранять, он и охраняет, а ты перед ним высокие вопросы поставил.

— Пускай охраняет себе на здоровье, а зачем я должен становиться перед ним «руки по швам», перед этим заведующим складом?

Характерно, что Григорьев не получил никакого взыскания за этот разговор с начальствующим лицом тюрьмы.

Я пробыл в этой камере полгода.

В начале 1939 года меня перебросили в другой корпус, в другую камеру. Это была очередная пертурбация.

В камере, куда меня ввели, никого не было.

Камера была большая, светлая, пол деревянный, в два ряда стояли восемь коек, посредине камеры — длинный стол и, конечно, у дверей неизменная параша, верный друг арестанта.

Вторым привели человека, которого я как будто где-то видел.

Мы внимательно рассматривали друг друга.

— Вы армянин? — спросил он меня.

— Конечно, — ответил я ему почему-то с акцентом.

Этот мой ответ впоследствии сделался предметом шуток в камере, меня постоянно дразнили: «канешно, канешно».

— А вы откуда? — спросил он.

— Из Тбилиси. А вы?

— Я тоже жил и работал в Тбилиси, но уехал оттуда в Таганрог, а затем в Москву.

— Таганрог? Степа! Асилов?

— Да, вы меня узнали, а я нет.

Я назвался. Мы крепко расцеловались.

В 1932 году, когда Берия стал секретарем ЦК КП Грузии и Закавказского крайкома, один из секретарей ЦК КП Грузии, а затем Армении Степа Варданян не пожелал работать с Берия и уехал из Закавказья в Таганрог. Вслед за ним уехал его друг и тезка Степа Асилов. В 1937 году распоряжением Берия оба они были арестованы, перевезены в Тбилиси, Варданяна расстреляли, Асилова осудили на десять лет тюрьмы. Степа Варданян происходил из семьи старых профессиональных революционеров. Отец и мать Варданяна были участниками революции 1905 года. Сам Варданян еще с гимназической скамьи примкнул к революционной работе, был одним из организаторов и активным участником тбилисской подпольной комсомольской организации «Спартак».

Одного за другим приводили наших будущих сокамерников. Вот они.

Сергей Алексеевич Бессонов — советник нашего полпредства в Германии. Один из оставшихся в живых по «бухаринскому процессу», получивший срок 15 лет. Райвичер — военный врач, хирург. Николай Федорович Богданов — географ, профессор, ученый секретарь Всесоюзного Географического общества. Два молодых агронома из наркомзема Украины, фамилии которых не помню.

Нас стало семь человек. Шесть членов партии, один — Богданов — беспартийный. Все были арестованы в 1937 году.

Восьмая койка осталась пустой.

Я снова попал в «партийную» камеру и был очень доволен этим. Мы нашли общий язык и жили очень дружно.

Бессонову было тогда около 45 лет. Старый большевик, участник гражданской войны, один из первых выпускников экономического факультета ИКП, ректор Свердловского политехнического института и одновременно завкафедрой экономики комвуза, преподаватель Института красной профессуры с 1928 по 1931 год, в дальнейшем дипломатическая работа в Англии и Германии. Таков Бессонов.

Бессонов оказался самым инициативным человеком. Он предложил не тратить времени даром, а заняться полезным делом. Он предложил приступить к изучению немецкого языка и сказал, что возьмется за руководство занятиями. Все, даже Богданов, хорошо владевший немецким языком, согласились и приветствовали инициативу Бессонова.

Но как быть? Ведь у нас нет никаких учебников немецкого языка.

— А нам они вовсе не нужны, — сказал Бессонов. — Сперва мы научимся разговаривать. Когда в немецкой семье ребенок только что начинает говорить, он никакого понятия не имеет о грамматике, а приобретает какой-то запас слов и

этим оперирует. Так вот, мы с вами начнем с того, что научимся говорить по-немецки, как будто только родились на свет. Затем научимся правильно писать те слова, которые мы знаем, а потом любители грамматики пусть изучают ее, когда станут обладателями учебников. Если к тому времени мы будем вместе, я помогу вам в этом.

Скоро мы убедились, что метод Бессонова оправдал себя. Мы быстро научились говорить, читать и писать по-немецки, не зная грамматики.

Вечерами кто-нибудь из нас рассказывал что-либо интересное из своей жизни. Так коротали время.

Бессонов был очень интересным рассказчиком, много видел и умел передавать виденное. По натуре он был веселый, жизнерадостный человек, но временами очень тосковал. Его жена тоже была арестована, и о единственной дочери-школьнице Бессонов ничего не знал. Он говорил, что находясь в Бутырской тюрьме, отчетливо слышал однажды голос дочери, Танюши: «Мама, мама, я тоже здесь».

— А может быть, это была галлюцинация, — говорил Бессонов.

У Бессонова где-то была сестра. Он написал ей несколько писем, но не получил ответа.

Профессор Богданов, несмотря на свои почти 70 лет, был очень бодрый, жизнерадостный человек. Сколько было энергии в этом маленьком седом старике с хитрыми бегающими глазками, с постоянной улыбкой на лице. Мы звали его «Николай Неугомонный». До ареста он жил в Ленинграде. Его жена была арестована и находилась в одном из казахстанских лагерей. Единственная дочь осталась в Ленинграде, окончила среднюю школу, поступила в какое-то высшее учебное заведение. Она проявляла трогательную заботу о своих родителях и из своей скудной стипендии ежемесячно посылала деньги отцу и матери. Протесты Богданова не помогали. Он полученные деньги не тратил.

— Я соберу их, и когда выйду из тюрьмы, сделаю дочке подарок на эти деньги, — говорил Богданов.

В этой камере были установлены другие порядки написания и получения писем. В «дни писем» вызывали из камеры по одному человеку в другую комнату, сперва давали прочесть полученное письмо, а затем написать ответ. Письма брать с собой в камеру не разрешалось. Фотокарточки давали в камеру на две недели.

Однажды в очередной день писем Степа Асилов вернулся возмущенный, взволнованный.

— Понимаете, что творится? Ира прислала мне 500 рублей. Эти деньги она получила обратно с сообщением, что адресат отказался от получения. Мать очень огорчена этим, а я никакого понятия не имею об этих деньгах. Какая ложь! Что подумает Ира!...

Конечно, было много разговоров в камере о наших делах. Украинские агрономы, Асилов, Райвичер и я еще надеялись на то, что мы не отсидим назначенные сроки, верили в пересмотр наших дел.

Бессонов придерживался иной точки зрения. Он утверждал, что мы неправильно оцениваем все происходящее, поэтому не понимаем, что наши сроки реальны. Говорил, что мы все продолжаем писать слезливые заявления, плачемся, что ни в чем не повинны, просим пересмотреть наши дела и не понимаем, что эти заявления никто не читает, никому не нужны наши слезы, что мы часто обращаемся к тому человеку, который наверняка непосредственно виновен во всем том, что происходит.

— Судите сами, — говорит Бессонов, — сколько больших государственных деятелей истреблено, сколько лучших наших полководцев уничтожено. Неужели вы верите, что они в чем-то повинны? Но ведь они физически уничтожены! Навивные вы люди, вы хотите, чтобы кто-то заявил во всеуслышание, что ошибся и зря расстрелял таких людей. А если это так, то о нас с вами никакой речи не может быть.

— Но ведь не было никакой необходимости уничтожать таких людей...

— Как это не было? Была самая настоящая необходимость в этом для тех, кто организовал это массовое избиение. Конечно, такие проходимцы и

авантюристы, как Ежов, Берия и другие, перестарались и в число репрессированных попали такие люди, которых вовсе и не следовало репрессировать. Но от этого положение не меняется. Я с вами согласен в том, что рано или поздно партия скажет свое слово. Но я не уверен, доживем ли мы сами до этого дня. Это будет тогда, когда наш «Политиздат» массовым тиражом издаст «Завещание» Ленина, о существовании которого мы, члены партии, знаем понаслышке и одно только знакомство с которым карается тюрьмой. Вот так. А вы свою зубную боль считаете несчастьем всего мира.

— Но ведь мы люди, и у каждого из нас семья, дети! Каждый из нас мог принести пользу государству. А сколько таких, как мы!

— Это верно, что и говорить. Много погибло хороших людей. Все враги наши, вместе взятые, не навредили столько. Не может быть, чтобы все это осталось безнаказанным.

— Вот вы участник такого громкого процесса, как процесс Бухарина и Рыкова. Мы читали в газетах отчеты о ходе процесса. Почему никто не подумал заявить суду об истинном положении вещей?

— Как никто? Несчастный Крестинский вступил в единоборство с этой акулой Вышинским. Сколько мотали бедного, и только тогда, когда он убедился в бесполезности борьбы, прекратил сопротивление. А какие неумные люди организаторы этого процесса! Ведь там были корреспонденты зарубежной прессы, а Чернов при них рассказывает, что когда он в Германии ехал из гостиницы на вокзал, его отвезли в полицейское управление и там завербовали в шпионы. Смешно? Нет, не смешно. Это большая трагедия, когда народный комиссар земледелия нашей страны, старый коммунист, так легко мог завербоваться в шпионы. Каким ограниченным тупицей надо быть, чтобы так скомпрометировать советского наркома? Естественно, в ложе корреспондентов иностранной прессы поднялся хохот, когда Рыков заупрямился и не признался в чем-то. «Но ведь Чернов показывает», — сказал Вышинский. «Что мне Чернов, который ехал из кабака на вокзал, попал в полицию и завербовался в шпионы?» — ответил Рыков. Или взять другого наркома — Розенгольца. Для чего надо было выдумывать эти амулеты, чтобы скомпрометировать нашего наркома внешней торговли?.. Надо быть безнадежным тупицей, чтобы санкционировать проведение такого процесса, как процесс Бухарина, только для того, чтобы уничтожить своих политических врагов. И каким надо быть жестоким и кровожадным, чтобы уничтожить 14 человек из 17-и? Разве можно допустить, что партия оставит все это безнаказанным? Никогда! Но когда это будет? Бухарин и Рыков имели свои взгляды на развитие нашего общества, партия осудила их оппортунизм. Но кто поверит, что эти люди были шпионами многих иностранных государств, террористами и даже были замешаны в покушении на Ленина?..

— А как вас арестовали? Вы же были в Германии.

— Да, был в Германии. Я неожиданно получил телеграмму с немедленным вызовом в Москву. Я не подозревал никакого подвоха. Прилетел. Но, поверьте, если бы я знал, что меня вызывают в Москву для того, чтобы арестовать, все равно приехал бы. Уж лучше сидеть в нашей, советской тюрьме, чем стать невозвращенцем и скитаться чужим человеком в чужой стране...

Восьмую койку нашей камеры занял Афанасий Афанасьевич, кажется, по фамилии тоже Афанасьев. Он из Барнаула. Очень худой, высохший старик. Он страдал астмой, жестокие и частые приступы душили его. Ходил с трудом. По специальному распоряжению начальника тюрьмы для него выносили табуретку во время прогулок.

О своем деле Афанасий Афанасьевич рассказывал, что сперва его обвинили в том, что он являлся руководителем террористической группы, которая должна была убить Ленина, если он приедет в Барнаул. Дело быстро было закончено, и ему объявили об окончании следствия. Афанасьев ждал расстрела.

— После расстрела зятя и ареста дочери, — говорил Афанасьев, — я часто

думал о самоубийстве, но у меня не хватило силы воли. Со спокойной душой я ждал расстрела и считал это спасением для себя. Но этого не случилось...

Следователь Афанасьев, как видно, был неопытным человеком, начальство не утердило дело. Слишком уж абстрактное обвинение — «на случай приезда Ленина в Баранавул»... И следователь выдвинул против него новое обвинение.

— Знаете, Афанасьев, — сказал он, — вы японский шпион.

— Ну что ж, какая разница, могу стать и японским шпионом.

Дело снова пошло на утверждение, но неопытный следователь и здесь упустил существенное. Через кого передавал Афанасьев свои шпионские сведения? В деле ничего об этом не было сказано.

— Моему следователю определенно не везло, — рассказывал Афанасьев. — Я ему подсказал: «Чего проще, нас ведь целая группа, одни пусть будут добытчиками сведений, другие — передатчиками». — «Так нельзя, Афанасьев, — возразил следователь. — Нужен человек в роли резидента японской разведки».

Затем он сказал, что нашелся такой человек, железнодорожник, который сам признался, что всю свою жизнь только и делал, что являлся резидентом японской разведки. На этот раз следствие было окончательным. Скоро нас судил трибунал. Когда суд вынес мне смертный приговор, к удивлению присутствующих я произнес: «Слава богу». Однако, как видите, дело этим не кончилось. Когда представитель трибунала предложил подписать телеграмму в Верховный Совет о помиловании, я отказался. Все подписали, а я заупрямился. Но и от моего имени послали телеграмму. Мы три месяца ждали ответа. Смертный приговор мне заменили десятью годами.

— А что стало с остальными?

— Помиловали только двоих...

... Я продолжал получать письма из дома, написанные тем же незнакомым почерком от имени матери. Письма были успокоительные: «Все в порядке, я и Люба работаем, на кусок хлеба зарабатываем...» Но эти строки не могли успокоить меня. Я был уверен, что Любы нет дома, и полагал, что она арестована. Мое подозрение было основано на том, что я никаких денег из дома не получал. Я думал, что если бы Люба была дома, она бы нашла для меня несколько рублей.

Я попросил прислать мне фотокарточку детей. Ждал недолго. В одно из писем была вложена фотокарточка. Невозможно передать мое состояние, когда я увидел эту карточку. Боже мой, как они выросли за это время! Оба одеты очень плохо. Спартак в свитере не по размеру, в помятых брюках. У Майки на голове бантик из лоскутка. Оба улыбаются, но эта улыбка насильно вырвана у них фотографом. Шнурок на одном ботинке Спартака развязался и болтается...

Любы нет дома, твердо решил я, разглядывая эту карточку. Она была женщина аккуратная, всегда подтянутая. Посылая детей на прогулку, всегда следила, чтобы они были аккуратно одеты, а здесь такие шнурки... Она ни за что не допустила бы, чтобы детей сфотографировали в таком виде.

После получения этой карточки я стал настойчиво гребовать в письмах, чтобы мне написали правду о Любе. «Я знаю, твердо знаю, что ее нет дома, но где она, что с ней? Пишите мне правду, только правду». Наконец, я получил ответ. В очередной «день письма» меня вызвали и дали прочесть письмо. Я его не дочитал до конца. Но то, что прочитал, помню: «Дорогой мой сын, — писала мать, — ты все время требуешь, чтобы я писала тебе правду относительно Любы. Ты прав, мы от тебя скрывали правду. Уже год, как Любы нет с нами. Она умерла от уремии 27 сентября прошлого года. Мы делали все, чтобы спасти ее, обращались к профессорам, но ничего не помогло...»

Дальше я читать не мог. Душили опазмы. Я весь оцепенел... Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Меня вывел из этого состояния окрик стоящего рядом надзирателя: «Ну, читайте скорее, сколько можно ждать!» Я потерял над собой контроль, я стал кричать на него неистовым голосом: «Что вы, люди или изверги? Неужели у вас не осталось ничего человеческого, разве вы не видите, что я не могу читать? Ведь здесь кровь и слезы, здесь смерть дорогого че-

ловека, а вы «скорее, скорее!» Надзиратель растерялся и даже стал успокаивать меня. Но я не мог ни дочитать письмо, ни написать ответ.

— Отведите меня в камеру, я не могу больше...

Я благодарен матери, что она так умно сообщила мне о гибели Любы. Даже болезнь придумала. Я ведь поверил. А что было бы, если бы она написала, что Люба легла под поезд?

Осенью 1939 года началась эвакуация соловецкой тюрьмы. Мы потом узнали, что подавляющее большинство заключенных было отправлено в северные лагеря, главным образом в Норильск. Но эту «привилегию» распространили не на всех. Из нашей камеры остались Бессонов и я.

В последних числах ноября 1939 года собрали из всех камер остатки и погрузили на пароход.

Почти два года я пробыл в соловецкой тюрьме. Ехали мы туда в каюте, а теперь нас спустили в трюм. В небольшом центральном трюме нас было около 50 человек. Мы задыхались, сразу же начались «скандалы» из-за параша. Нам не дали в трюме парашу и не выпускали на opravку. Мы протестовали... С нами в трюме были немцы, члены Германской коммунистической партии, эмигрировавшие в Советский Союз. Больше всех шумели они, устроили настоящую обструкцию.

— Если сейчас же не прекратите шуметь, мы будем стрелять в трюм, — угрожали конвоиры.

— Стреляйте, стреляйте! — еще громче кричали из трюма.

В конце концов в трюм была спущена большая бочка — желанная параша.

Среди немцев Бессонов нашел знакомого и на мой вопрос, кто он такой, ответил:

— Секретарь Тельмана Гирш.

Нас доставили на станцию Кемь. Там нас ждал состав «столыпинских» вагонов.

Бессонова и меня поместили в двухместное купе. Мы уже настроились на то, что будем ехать с комфортом, но вскоре к нам привели третьего, а через несколько минут — еще двоих. Нас пятеро. Один из последних двоих был... Петр Петровский, а другой Айхенвальд, тоже экономист, тоже выпускник Института красной профессуры, осужденный на 15 лет. Я обрадовался встрече с Петровским, спрашивал о людях, с которыми сидели вместе и, конечно, о Мамулашвили. Петровский рассказал, что Мамулашвили, Харченко и Штейнберг были отправлены в лагерь. Об остальных он ничего не знал, они давно были переведены в другие камеры.

Итак, снова в этап. Куда?

Конвой нашего вагона состоял в основном из украинцев. Каким-то образом среди конвоиров распространился слух, что среди заключенных находится Петровский, родной сын «того самого» Петровского.

Как-то вечером, когда все процедуры были закончены и прозвучала команда «Спать», часовой, стоявший перед нашей дверью, тихо спросил:

— Кто здесь Петровский?

— Я, — отозвался Петр Григорьевич.

— Вы сын Петровского?

— Да.

— Того самого?

— Кого «того самого»?

— Ну, председателя нашего.

— Да, того самого.

— Скажите, как могло получиться, что сын всеми уважаемого человека оказался в шайке преступников?

Петровский улыбнулся, немного помолчал, затем ответил:

— Знаешь, браток, на эту тему с тобой невозможно договориться. Вот, например, мы всегда с тобой спорим об одном простом деле и никак не можем договориться. Уборная рядом, а мы не можем ею пользоваться тогда, когда в ней

нуждаемся. Ведь вы не хотите понять, что человек должен отправлять свои естественные потребности, когда чувствует необходимость. Вы нам этого не разрешаете. Мы болеем, пользуемся ботинками, кружками, из которых пьем. Вы все это видите и считаете, что так должно быть. Если вы такую простую вещь не понимаете, как же я могу ответить на тот вопрос, который вы мне задали, и ответить так, чтобы вы поняли?

Часовой призадумался.

— Да! Может быть, вы правы...

Он отошел, но через несколько минут снова подошел к двери.

— Петровский! А правда, что ваш брат расстрелян?

Петровский нахмурился:

— Я не знаю об этом ничего.

— Но он тоже арестован.

— Да, арестован.

— Все говорят, что один из сыновей Петровского, большой командир, расстрелян, — сказал конвоир и отошел на свое место.

Мы не знали, куда едем, но когда прочли «станция Орел», поняли, что дальше не поедем. Поняли также, что нам предстоит знакомство со страшным Орловским централом.

ОРЛОВСКАЯ ТЮРЬМА

— Приготовьтесь, через пятнадцать минут будем выгружаться, — сказал начальник конвоя.

Немцы из соседнего купе сострили:

— Значит, к вечеру нас выгрузят.

Мы приготовились и стали ждать. Увы, немцы оказались правы. «Пятнадцать минут» истекли только к вечеру. Нас погрузили в открытые грузовики с высокими бортами. Мы смогли увидеть только златоглавую церковь с крестами на куполах. Больше ничего. Приехали. С лязгом отворились огромные железные ворота, за ними другие, и мы очутились в тюремном дворе. Оттуда нас привели в просторное помещение. Разговаривать между собой не разрешали. Затем выкрикивали фамилии и куда-то уводили по одному.

Очередь дошла до меня.

— На всякий случай до свидания, — сказал я стоящим рядом Бессонову и Петровскому. Следовало бы сказать «Прощайте», так как мы больше не встретились.

Мир тесен. Спустя много лет жизнь столкнула меня с женой Бессонова Антониной Дмитриевной и ее дочерью. Школьница Таня теперь стала кандидатом медицинских наук Татьяной Сергеевной Соколовой, а затем и доктором медицины, профессором-педиатром.

Наша случайная встреча переросла в близкое знакомство.

Антонина Дмитриевна хлебнула много горя, много лет находилась в лагерях. Была арестована также несовершеннолетняя Таня, но ей «повезло», она просидела «только» полгода и была выпущена на свободу.

Антонина Дмитриевна рассказала, что как-то в лагере она получила посылку от матери, где в двойное дно коробки из-под конфет было спрятано письмо от Сергея Бессонова из орловской тюрьмы. Письмо было такого содержания:

«Напрасно я пишу по всем разрешенным мне адресам и спрашиваю, где Тоня, где Таня. Ни от кого не получаю ответа. В настоящее время я лежу в больнице орловской тюрьмы с очень скверным плевритом.

Ваш несчастный муж и отец».

Да! Дни, проведенные в орловской тюрьме, были последними днями жизни Сергея Алексеевича Бессонова

В этом «тесном» мире я познакомился также с женой Петра Григорьевича Петровского Клавдией Дмитриевной и с его сестрой Антониной Григорьевной.

Тяжелой и горькой была жизнь Клавдии Дмитриевны после ареста мужа.

Она была приговорена к пяти годам лишения свободы. Маленькая Леночка воспитывалась у родителей Петра Григорьевича.

«Пять лет» лишения свободы оказались намного больше календарных пяти лет, и эти годы она провела в этапах, в разных лагерях, жила в нечеловеческих условиях. Страстное желание повидать ребенка заставило ее бежать из лагеря и пробраться в Москву. Антонина Григорьевна — тогда «законная» жительница Москвы — помогла Клавдии Дмитриевне прописаться в Москве как домработнице.

К каким только ухищрениям ни прибегали наши жены, чтобы выжить, быть ближе к своим детям, заботиться о них!

Клавдия Дмитриевна, находясь в Москве, живя в тяжелейших условиях, под постоянной угрозой разоблачения и ареста, как могла заботилась о своей дочери, о маленькой Леночке, растила ее, обеспечила ее образование. Ее труды не пропали даром. Лена получила высшее образование, стала квалифицированным специалистом и полезным членом нашего общества.

Клавдия Дмитриевна рассказывала, как трудно жилось «старикам» в те годы. Григорий Иванович работал в Музее революции заведующим административно-хозяйственной частью, получал очень мало и нуждался. Про себя Григорий Иванович говорил: «Я живой экспонат Музея революции».

Только в 1952 году по ходатайству райкома Петровскому был установлен персональный оклад.

Клавдия Дмитриевна заботливо сохранила письма мужа из тюрьмы.

Написанные простым карандашом, местами стертые, пожелтевшие от времени листки сохранили для нас душевное состояние человека, который потерял все, сознавал безысходность своего положения, но не потерял человеческого достоинства. Невероятно тяжелые условия, в которые он попал, не убили в нем человека, интереса к литературе и искусству, ко всему, что присуще человеку.

Письма Петровского нельзя читать без волнения. Они типичны для многих из нас и выражают состояние, чувства, переживания, отчаяние, веру и надежды большинства из нас.

Клавдия Дмитриевна сделала большое дело, сохранив эти письма.

Считаю нужным привести некоторые выдержки из них.

Вот первые письма из соловецкой тюрьмы.

«29 марта 1938 года

Моя радость, моя славная любимая Клава!

Сегодня в первый раз я получил возможность написать тебе. Вначале я колебался — не предпочесть ли мнимую «сладость» неведения ужасным новостям, которые может принести тебе переписка. Но потом мука длительного ожидания пересилила, и сейчас самое страстное желание мое в том, чтобы получить от тебя весточку, независимо от того — радость или новое горе приготовила мне судьба.

Все свои силы я сосредоточил на том, чтобы добиться реабилитации. Я не питаю никаких иллюзий и знаю, что на этом пути мне предстоит встретить трудности невероятные и почти непреодолимые. Но если и есть еще какой-нибудь смысл в моем существовании, то только в этом и может состоять сейчас цель всех моих жизненных усилий. Ибо ничто не в состоянии поколебать моей внутренней убежденности в том, что я так же, как и все честные люди, ненавижу мерзостную лакесть контрреволюции и враждебен ей всеми силами ума и сердца, а потому и не хочу иметь с ней что-либо общее...

... После долгих моих настояний 20 апреля прошлого года я узнал, что роды прошли благополучно и родилась крепкая, здоровая девчурка — Лена. Вот и все, что мне известно о вас...

... Я потерял семью, потерял тебя: столько потерять никто не может, и я сразу стал несчастнейшим из людей. И прибавить еще к этому тяжелейшие обвинения...»

« 29 июля 1938 года

Совершенно подавлен обстановкой твоего перевода в Уфу из Москвы. Вместе с тобой сокрушаюсь из-за такого неожиданного оборота жизни...

...С детьми ты правильно говорила, но совсем вычеркивать все же нельзя. Как же ты им объяснила наши отношения? Тут врать не надо детям, в этом нет никакой нужды. Если было, прошу тебя исправить, только не отягивай, ибо неприятно вести переписку, которую приходится скрывать от своих детей...»

И дальше:

«... Если не читала Хэмингуэя — «Прощай, оружие», советую. Это искренняя книга о большом человеческом чувстве...»

В этом же письме Петровский обращается к своей годовалой дочурке, которую не видел.

«...Аленушка, чудная моя дочка, мама так живо описала: я тебя всю вижу. Тебе-то мама о папе говорит ли?.. Когда, когда-то увижу я тебя, маму и всех вас?...»

«29 августа 1936 года

... До того я каждый день измотан тоской по вестям от тебя и детей, что писать о себе прямо нет сил. Да и писать нечего, ибо моя жизнь сведена к минимуму биологических функций, за пределы которых я могу выходить только мышлением. Вообще в моей жизни фактов нет, дни однообразные...»

«30 октября 1938 года

... Все время жду, бесконечно долго жду, и тут-то у меня возникают самые тяжелые раздумья. Мне часто кажется, что без меня, если бы, скажем, я перестал обременять землю, что в этом случае жизнь детей и твоя могла бы быть нормальнее. Над вами не тяготело бы мое проклятое прошлое. Ведь со мной оно и должно уйти. А так хочется, так страстно желается, чтобы тебе и детям жилось лучше, спокойнее, хорошо...»

Из орловской тюрьмы Петровский писал:

«3 января 1940 года

... Тоска, одиночество без тебя и детей, тревога за всех вас, жажда получить весточку...»

« 3 февраля 1940 года

... Что делать, Клавушка родимая, я, право, не знаю: ведь вот подходят к концу третий год этой несчастной полосы.

Не могу, совершенно лишен сил написать тебе что-нибудь вразумительное или содержательное...»

«4 мая 1940 года

Дорогие мои родные! Перед первым мая у меня вдруг случилась такая удача... Пришли письма: одно от 12 апреля, другое — 18 апреля, и в них я нашел все. Ведь сама посуди, Клавушка, как мне хотелось знать, живы ли старики, брат, сестра, а прошло столько лет, что я мог тревожиться, не умерли ли уже все...»

«7 октября 1940 года

Дорогие мои родные!

Оказывается, вы еще не потеряны для меня, снова я вас обрел после длительной разлуки. Ведь после 27 июля я от вас не получал ни одной весточки: такая уйма времени, столько волнений, тревог, а сейчас, получив письмо, я совсем растерялся от радости, дрожу и рука дрожит и буквы еле вывожу и не знаю о чем писать...

... Пусть судьба наконец, смилостивится над вами и пошлет дальше жизнь посчастливее, поспокойнее...

... Ну, конечно, хотелось бы знать, как здоровье Ирочки и Лени — сыночка, но на нет и суда нет...»

«31 октября 1940 года

Дорогая моя любимая Клавушка!

Вот получил ваше письмо от 3 октября и хоть нерадостное оно, а все же так приятно получить весточку от родных и близких. Читаю и как-то растворяется понемногу жесточенность, одичание, скептицизм, мизантропия, загнанность и прочее, чем украшена моя жизнь...»

« 25 ноября 1940 года

... Тебе понравился Фейхтвангер, мне тоже, но попавших тебе вещей я не читал... Удалось читать только «Семью Оппенгейм» и «Успех». Советую тебе Теккеря — «Ярмарка тщеславия», получишь истинное удовольствие...»

«27 марта 1941 года

... Удалось ли тебе прочитать Хэмингуэя—«Прощай, оружие»? Прости, что я тебе пишу об этой книге так часто, но я просто влюблен в нее и потрясен ею...»

В этом письме Петр Григорьевич обращается к сыну жены Феликсу.

«... «Собор Парижской богоматери» я читал давно-давно, теперь почти забыл и помню только Квазимодо. А довелось ли тебе читать Короленко? Какие книги? Или вот Киплинга «Маугли» о мальчике, выросшем среди зверей и ставшем их вождем? Мне пришлось прочитать несколько заметок о книге Гайдара «Тимур и его команда», что это за книга, не мог ли ты мне рассказать о нем, она меня заинтересовала, а достать мне ее невозможно. Поздравляю тебя с успехом по русскому языку и литературе. Помогашь ли маме по хозяйству, а потом — не давайте ей очень переутомляться...»

«26 апреля 1941 года

... Клава, ведь с ума можно сойти, когда же сбудутся мои ожидания. Ведь все это так бессмысленно, кому нужны эти нечеловеческие страдания, чтобы была разбита семья, растоптана человеческая жизнь, раздавлены самые лучшие чувства? Когда-нибудь, наконец, должны же подумать об исправлении чудовищной ошибки, ведь о живом человеке идет речь, для которого не было на свете ничего священнее своей родины, своего класса и его вождей. Родная моя, пиши, твои письма облегчают мое отчаяние...»

Меня присоединили к двум незнакомым арестантам и повели через двор к другому корпусу. Это было старинное трехэтажное мрачное сооружение из красного кирпича, почерневшего от времени. Внутри — большой прямоугольный коридор, вернее не коридор, а большое прямоугольное помещение, откуда видны все три этажа со сплошными балконами с высокими перилами, за которыми виднелись камеры. Не камеры, а закрытые двери камер.

После тщательного обыска и медицинского осмотра нас ввели в камеру на первом этаже.

Камера произвела на нас непередаваемо угнетающее впечатление. Низкий темный свод нависал почти над головой. Крошечное окно затемнено армированным стеклом и закрыто снаружи неизменным козырьком. У трех стен вцементированы в пол тяжелые, мрачные койки. Посреди камеры вбит в пол маленький железный столик, а рядом со столиком — такая же железная табуретка. Около двери — небольшая, но тяжелая железная параша.

Да, камеры соловецкой тюрьмы по сравнению с этой были дворцами.

Мы узнали, что это был основной корпус пресловутого Орловского центра. На первом этаже были трехместные камеры, на втором этаже — двухместные, на третьем — одиночки. Свободные одиночки использовались под карцер. Мне пришлось отбыть три дня карцера в одной из этих камер. Для карцера эти одиночки были хороши хотя бы тем, что можно было сидеть на нарах или спать, разумеется, без матраца.

Мы провели в этой камере около трех месяцев. Книг нам не давали и на наши просьбы мы получали один и тот же ответ:

— Когда дадим, тогда и получите, понятно?

За это время нам не разрешали также писать письма. Режим был строгий. Днем разрешалось только сидеть на нарах, и любители поспать вспоминали соловецкую тюрьму.

Однажды после отбоя началось необычное движение в коридоре.

Мы проснулись и ждали своей очереди.

Меня перевели в пятиместную камеру. После давящих сводов, под которыми я жил три месяца, эта камера показалась шикарной. Потолок высокий, а самое главное, не сводчатый. Камера была оборудована откидными койками (наконец-то добрались до этих откидных кооек, о которых я слышал еще в Соловках). Посредине камеры стоял цементированный стол и по двум сторонам стола — такие же скамейки. Цементный пол был окрашен в красный цвет. В окне — такое же армированное стекло. В эту камеру собрали нас пять человек, из которых самым молодым по возрасту был я. Это была вторая камера, где я был единственным коммунистом. Моими сокамерниками были:

Вадим Афанасьевич Чайкин — член Центрального комитета партии эсеров. За годы Советской власти неоднократно репрессировался, сидел в суздальской тюрьме, был сослан в Среднюю Азию. Он был арестован в 1937 году в ссылке и осужден на 10 лет тюрьмы. Старый холостяк, он вообще не имел близкого человека. Убеденный враг Советского государства.

Майоров — член Центрального комитета партии левых эсеров. Муж известной эсерки Спиридоновой. Когда левые эсеры вошли в состав советского правительства, Майоров занимал пост наркома земледелия РСФСР, но затем, после эсеровского мятежа, был репрессирован и находился в ссылке. В 1937 году Майоров и его жена были арестованы и осуждены на 25 лет каждый. Их единственный сын работал где-то инженером. Майоров, как и Чайкин, являлся непримиримым врагом Советского государства.

Владимир Карпено — профессор римского права Киевского университета. Он происходил из богатой помещицкой семьи. После ареста Косиора в 1938 году на Украине прошла новая волна массовых арестов, которая коснулась и Карпено. Его осудили на десять лет тюрьмы.

Сергей Яковлевич Гинзбург — преподаватель математики Московского авиационного института. Он тоже недоумевал по поводу своего ареста и ругал некоего Платта, который своими показаниями оговорил его.

Очутившись в одной камере с такими матерыми врагами Советского государства, как Чайкин и Майоров, я был очень огорчен. Если до этого в тайниках души теплилась надежда на то, что пересмотрят наши дела и выпустят нас, что не могло быть одинакового отношения к нам и врагам народа, то пребывание в этой камере рассеяло мои иллюзии. Стало ясно, что в глазах осудивших меня людей я такой же враг государства, как Чайкин и Майоров. Значит, о пересмотре дела не может быть разговора.

В орловской тюрьме была сносная библиотека, мы стали получать книги. Выписывали также газету и были в курсе происходящих событий.

В самом начале пребывания в этой камере мы были подвергнуты вторично медицинскому осмотру. Руководила осмотром женщина-врач. Я очень сожалею, что не смог узнать ее фамилию. За все время заключения я нигде не встречал такого человеческого отношения со стороны тюремных врачей. Она была очень красивой женщиной, высокого роста, с темнорусыми волосами, темными, большими, добрыми глазами. Взгляд мягкий, внимательный. К просьбам заключенных относилась с исключительным вниманием. Вот один пример. Я страдал тяжелыми

головными болями — мигренью. Твердые тюремные подушки усиливали мои страдания. За два года пребывания в соловецких тюрьмах я не мог добиться, чтобы из моих вещей мне разрешили взять в камеру небольшую подушку. На неоднократные просьбы мне в конце концов ответили, что если я еще раз обращусь по этому вопросу, меня накажут. Этим дело и кончилось.

Когда я изложил врачу орловской тюрьмы просьбу о подушке, она сказала, что это трудноразрешимый вопрос, но она постарается помочь. Через несколько дней в камеру принесли мою подушку. Я обрадовался до слез. Это была единственная вещь из дома, подушка моего Спартака, ее принесла Люба с другими вещами в тбилисскую тюрьму. Любы уже не было в живых, и подушка, на которой когда-то безмятежно спал мой мальчик, теперь со мной отбывала заключение...

Подушка очень облегчила мои головные боли, но вместе с тем появились и хлопоты: каждый раз во время очередных обысков, — а обыски были частые, — эту подушку у меня отбирали. Я протестовал, хлопотал о возвращении, и ее после тщательного осмотра возвращали.

Врач помогла нам и в другом.

Откидные койки утром запирались в стену, а вечером, во время отбоя, их открывали. Нам было очень трудно весь день проводить на ногах или сидя на скамьях. Особенно трудно было Гинзбургу, больному и старому человеку. Когда во время обхода мы заявили об этом врачу, она сказала:

— К сожалению, этот вопрос не входит в мою компетенцию и изменить режим тюрьмы я не могу. Но все-таки запишу. Что касается вас, — сказала она Гинзбургу, — я постараюсь получить разрешение начальника тюрьмы.

Через несколько дней во время подъема нам объявили, что койки запирать не следует и что нам разрешено оставлять койки открытыми. Это принесло нам большое облегчение.

Еще один пример.

Жалуясь на головные боли, я как-то сказал врачу:

— Для меня самое главное лекарство — воздух. Часовая прогулка совершенно недостаточна. Если бы вы разрешили мне дополнительную прогулку, это было бы большим облегчением.

Через несколько дней меня вызвали на дополнительную прогулку. Некоторое время я выходил один. Случилось так, что начальник тюрьмы посетил нашу камеру. Тогда все в один голос попросили у него разрешения тоже выходить со мной.

— Ведь все равно, один человек выйдет или вся камера. Это для конвоира не имеет значения — он так или иначе будет дежурить у прогулочного дворика.

Разрешение было дано. Надо сказать, что в орловской тюрьме, не в пример соловецкой, прогулки были самым приятным времяпрепровождением. В прогулочных двориках были скамейки. Мы могли сидеть, ходить, любоваться небом... От нас не требовали обязательного шагания с тем, чтобы «каждый смотрел на каблук переднего». Мы могли даже лежать на скамейке и загорать. Дополнительная прогулка принесла нам большое облегчение. Кроме того, день «разбивался» и быстрее проходило время. В орловской тюрьме не было органичений в форточке, ее открывали сами заключенные по своему усмотрению.

Вообще медицинское обслуживание заключенных в орловской тюрьме было хорошее. При больнице имелся даже небольшой физиотерапевтический кабинет, и нуждающимся заключенным назначались процедуры. Устройство кабин было такое, что принимающие процедуры заключенные не могли общаться друг с другом. Зубной врач был опытный и добросовестный. Наложенная им в 1940 году временная пломба прослужила мне все последующие годы заключения и несколько лет на свободе.

В камере каждый был занят своим делом и старался не мешать другим. Люди были разные. Не могло быть речи о дружбе, скажем, с такими людьми, как Чайкин и Майоров.

Своеобразной личностью был Вадим Афанасьевич Чайкин. Ему было около 55 лет. Высокого роста, очень худой человек с продолговатым лицом, маленькими острыми глазами. Старый холостяк и убежденный женоненавистник. Небольшая седая козлиная борода, которую он носил, еще больше удлиняла его лицо.

Он считал себя таким знатоком русского языка, что готов был находить синтаксические и орфографические ошибки в любой книге, у любого автора.

— И у Тургенева?

— И у Тургенева.

В камере были «Записки охотника». Я открыл одну страницу и передал ему.

— Найдите на этой странице ошибку.

Чайкин прочел страницу, перечел еще раз, призадумался и, показав на одну из строк, сказал:

— Вот вам, пожалуйста, ошибка. В этом месте нужна не запятая, а тире.

Все единодушно решили, что он говорит чушь.

Чайкин много рассказывал о своем пребывании в суздальской тюрьме в двадцатых годах. Там камеры закрывались только на ночь. Днем в пределах этажа тюремного корпуса заключенные разгуливали по камерам. Прогулки давались два-три раза в день по два-три часа. Во время прогулок все заключенные общались между собой и даже с женской половиной тюрьмы, так как те тоже гуляли в одно и то же время с мужчинами и их двор был отгорожен небольшим деревянным забором. Бывали случаи, когда знакомство с женщинами кончалось романом и не просто романом, а даже браком. В таких случаях надо было написать заявление начальнику тюрьмы и просить разрешения на брак. После положительного ответа новобрачным отводилась отдельная камера.

Будучи членом Центрального комитета партии эсеров, Чайкин, по его словам, был направлен в Среднюю Азию по заданию партии эсеров для того, чтобы обследовать на месте обстоятельства гибели 26 бакинских комиссаров и отвести от партии эсеров обвинение в участии в этом деле. Чайкин рассказал, что он подробно изучил обстоятельства гибели 26 комиссаров, говорил со многими людьми и установил, что партия эсеров никакого отношения к этому делу не имела, организаторами убийства были англичане.

— Картина Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров» исторически неверна, — говорил Чайкин. — Они не были расстреляны, а были обезглавлены. При этом исполнителем казни являлся только один человек — туркмен, исполнившей силы богатырь. Этот туркмен один, своими собственными руками шашкой обезглавил всех.

Чайкин даже написал книгу о том, как погибли бакинские комиссары и эта книга была издана в 1922 году в Москве издательством З. И. Гржебина¹.

Чайкин в камере занимался «литературным трудом». Он писал какой-то роман. Он считал, что любой человек, если он умеет писать, может стать писателем.

— Никто писателем не родится, — говорил Чайкин. — Человек живет, наблюдает и, если он грамотен, может описать виденное и таким образом стать писателем.

Чайкин писал много. Он добился у начальника тюрьмы разрешения писать в камере, иметь тетрадей сколько ему понадобится, ему давали ручку и чернила. В одной из тетрадей он написал завещание, какого-то своего племянника назначил наследником и распорядителем своего «литературного творчества».

Чайкин в своем «романе» описывал события, которые, по его словам, имели место в Ташкенте. Содержание таково: профессор Среднеазиатского университета Шихайлов (настоящая фамилия Михайлов) влюбился в одну из молодых студенток и в конце концов развелся с женой и женился на ней. У него был взрослый сын, который уехал с матерью. Через некоторое время его сын тяжело заболел и умер. Дали знать Шихайлову. Тот распорядился перевезти труп в Ташкент. Он забальзамировал труп и держал у себя дома. Молодая жена, к тому времени беременная, просила, умоляла его, чтобы он убрал труп из квартиры, но он не захотел. Кончилось тем, что она убила его, инсценировав его смерть как самоубийство. Дело было раскрыто, убийство доказано, и она была осуждена.

Чайкин держал у себя небольшой ситцевый платок. Он им очень дорожил.

¹ Вадим Чайкин. К истории Российской революции. Выпуск 1. Казнь 26 бакинских комиссаров. Издательство З. И. Гржебина, Москва, 1922.

Говорил, что этот платок является дорогой и единственной памятью о человеке, которого он никогда в своей жизни не забудет.

— Это самая ценная вещь, когoрой я располагаю, — говорил Чайкин.

— Понятно, это подарок от любимой женщины.

— Вы ошибаетесь, — коротко отвечал Чайкин.

В первые же дни своего пребывания в камере Чайкин и Гинзбург серьезно поругались.

Гинзбург как-то рассказывал о том, что, будучи работником издательства Наркоминдела СССР, он беседовал с Савинковым, когда тот писал свои воспоминания и готовил их для печати. Чайкин вспыхнул:

— Ах, вот что! Вы тоже приложили руку к этому грязному делу? Савинков не мог явиться автором тех воспоминаний, которые ему приписывают. Я его хорошо знаю. Тигр попал в тенета, и такие прихлебатели, как вы, приспособившись у государственного жирного пирага, рады были на задних лапках прислуживаться и выполнять почетные поручения своих хозяев. Савинков ничего не писал, а когда узнал, что какую-то стряпню выдают за его воспоминания, совершил храбрый поступок и покончил с собой. Это поступок тигра, который хотя и попал в тенета, но не дал себя на съедение шакалам. Это смерть героя, а вы... — и так далее...

Гинзбург выслушал, помолчал и, не повышая голоса, сказал:

— Я бы вам ответил, но вы человек подлый, и разговаривать с вами не буду.

Я и Чайкин давно перестали разговаривать друг с другом. Во время какого-то спора я назвал партию эсеров политическим мертвецом, Чайкин обиделся, и мы больше не разговаривали.

Чайкин не ладил и с Майоровым. Он считал, что левые эсеры совершили предательство, когда сблoкировались с коммунистами.

Майоров ему ответил:

— Здесь не дискуссионный клуб, и я не хочу спорить с вами по политическим вопросам и доказывать, что предательство перед народом совершила именно ваша партия. Скажу одно: меня удивляет то обстоятельство, что вы отделались только десятью годами тюрьмы. За какие ваши заслуги вам оказана такая милость? Давно проверенный метод, когда сам предатель бросает обвинения другому в предательстве.

Майоров по своему характеру был нелюдим, держался особняком. Хотя с Чайкиным они были одного поля ягоды, он терпеть не мог Чайкина. Попробовал с Гинзбургом заниматься математикой, но из этого ничего не вышло. Майоров не проявлял способностей к освоению основ элементарной алгебры, и Гинзбург отказался заниматься с ним:

— Нет, брат, у меня с вами ничего не получается. Вы не хотите работать над собой, не хотите мыслить!

— Может быть, я уже постарел для учебы, — говорил Майоров. — Мозги воспринимают что-то туго, и я ничего не могу сделать.

И перестал заниматься.

Майоров был вегетарианцем. От рыбных супов и супов на костном наваре он не отказывался, но когда давали отдельно рыбу, он ее не брал.

— Но это же непоследовательность, — говорили мы ему. — И вообще глупо в условиях заключения отказываться от существенной части тюремной пищи.

Майоров признавал, что это действительно непоследовательно, но если он откажется и от супа, то это будет равносильно голодовке.

У Майорова не было денег на счету. Когда в дни получения продуктов из ларька сокамерники угощали друг друга, Майоров ни от кого не принимал никаких угощений. Даже луковницу или зубчик чеснока нельзя было предложить ему: он обижался.

Однажды Майорову сообщили о том, что на его счет поступили деньги — десять тысяч рублей. Эти деньги, как он рассказывал, были отобраны у него во время обыска, но не занесены в протокол. Он писал заявления, деньги нашлись, и вот он их получил. Было странно, что после их получения Майоров ни одной копейки не потратил, ни разу из ларька продуктов не выписывал. Попробовали повлиять на него, но ничего не получилось. Жена Майорова, Мария Спиридоно-

ва, также была членом ЦК левых эсеров. Она та самая Спиридонова, которая запустила чернильницей в голову жандармского ротмистра за его развязное поведение во время допроса. Майоров знал, что его жена также осуждена на 25 лет, но не знал ее местонахождения. Он писал несколько раз сыну, спрашивал о ней, но никакого ответа не получил.

Владимир Карпеко. Высокого роста, широкоплечий, с правильными чертами лица, с большими серыми глазами. Несмотря на возраст — ему было за 70 лет, — у него сохранилась пышная с проседью шевелюра, голова на макушке была едва заметно оголена. Он, как сын богатого помещика, рос в роскоши и довольстве, много путешествовал, бывал за границей. Он рассказывал, что еще ребенком он видел воспетую Пушкиным Анну Керн, уже глубокую старуху. Это было у какого-то помещика, к которому родители Карпеко взяли Володю. Он помнит, как все, затаив дыхание, слушали ее рассказы о знакомстве с Пушкиным, помнит, как она плакала и говорила, что Пушкин обессмертил простую, ничем не примечательную женщину.

А может быть, это было ложное впечатление мальчика, склонного к фантазии.

Карпеко плохо слышал. Может быть поэтому он избегал разговоров вообще и большую часть времени либо читал, либо спал. Читал он много, но обращался с книгами варварски. Переламывал их, выворачивал, клал под голову. За несколько дней он превращал книгу в тряпку. Мы все очень возмущались, делали ему замечания, стыдили, говорили, что сам он профессор, ученый человек и должен иметь уважение к книгам, а он так безобразно их портит.

Сергей Яковлевич Гинзбург, маленький, худой и очень больной старик, выглядит намного старше своих 60 лет. В тюрьме он отрастил бороду. Она ему шла так, что трудно было представить его без бороды. Не верилось, что до тюрьмы он ее не носил. Широкий лоб, небольшие каштановые глаза, внимательные и добрые. Усы, тоже «приобретенные» в тюрьме, где-то в концах сливались с бородой.

Гинзбург имел привычку прищуривать левый глаз, особенно когда сердился. Он любил свою профессию математика. Выписал из библиотеки книги по своей специальности и занимался. Он говорил, что начал работу по составлению учебника высшей математики, но не закончил ее — был арестован.

— Попробую закончить в тюрьме, если доживу, — говорил Гинзбург, — хотя это чертовски трудно без необходимого материала.

Гинзбург был единственным человеком, с которым я мог дружить в этой камере. Как видно, такого же мнения придерживался и Гинзбург и с первых же дней между нами установились близкие отношения. Гинзбург по состоянию здоровья нуждался в уходе, и я сразу же, как самый молодой в камере, предложил ему свои услуги. Ему было трудно передвигаться самостоятельно, и когда мы выходили на прогулку, он опирался на меня. В бане он мылся с моей помощью.

Гинзбург очень охотно взялся заниматься со мной математикой.

— Начнем с арифметики, — предложил он.

— А зачем нам это, — возразил я, — что, я арифметику не знаю, что ли?

— Многие считают, что знают арифметику, но на самом деле это далеко не так. Не все профессора знают арифметику.

Начали с арифметики. Выяснилось, что Гинзбург прав, что многие положения арифметики мною забыты.

Гинзбург был вспыльчив. Какая-нибудь сказанная шутка сперва серьезно злила его, но когда он понимал, что это шутка, смеялся своим скупым смехом.

Однажды, когда Сергей Яковлевич объяснял решение задачи «доказательством от противного» и начал: «Предположим, что задача решена», — я его оставил:

— А я не хочу предполагать, что задача решена, когда в действительности она не решена.

— То есть как это не хотите? — Он даже растерялся.

— Очень просто. Я вовсе не хочу делать предположения. Вы мне решите задачу и объясните.

— Ну вот, я и объясняю. Есть положения в геометрии, которые доказывают только «от противного»... Итак...

— Нет, не хочу от противного, хочу от прямого.

— Ну и дурак. Как это от прямого? — серьезно разозлился Сергей Яковлевич и прищурил левый глаз. Но затем, поняв шутку, засмеялся.

В другой раз:

— Что за бестолковая наука эта геометрия, — говорю я вполне серьезно. — Точка не имеет никаких измерений, а две точки уже приобретают измерение. Если одна точка не имеет измерения, то есть это ничто, то и две точки, и миллион — тоже ничто. А в геометрии — пожалуйста, одна точка ничто, а две точки — уже линия и имеют измерение. Линия тоже, в свою очередь, умудряется приобрести второе измерение, когда их две. Логика нет.

— Так условились ученые. И вся точная математическая наука основана на этих простых истинах, — тоже вполне серьезно разъяснял Сергей Яковлевич, прищурив, конечно, при этом левый глаз.

Гинзбург много рассказывал о себе, о своей семье. Жена умерла. Сын Александр работал в Москве на автозаводе имени Сталина (теперь имени Лихачева), инженером-конструктором. Дочь Елена замужем и у нее трехлетний сын. Гинзбург не расставался с фотокарточками внука. Каждый день он доставал эти карточки, подолгу рассматривал их и, тяжело вздыхая, прятал. Потом вновь вытаскивал и рассматривал. Сын и дочь нежно любили своего отца. Они писали ему длинные, хорошие письма, ежемесячно присылали по 150 рублей, втрое больше того, что разрешалось. Они сообщали ему, что добиваются разрешения посылать ему еще больше денег и просили его, чтобы он ни в чем себе не отказывал. Но Гинзбург не имел возможности использовать полностью эти деньги, и они копились на его счету, хотя ларек в орловской тюрьме был лучше. Кроме овощей, в ларьке продавали нередко масло, сметану и другие продукты.

Гинзбург много курил и часто засыпал с папиросой во рту.

Как только засыпал, сразу начинал храпеть.

В орловской тюрьме у меня не было денег. Я их не получал ни от кого после смерти Любы, а в Соловецкой тюрьме мои деньги кочились.

Гинзбург не раз предлагал мне питаться «коммуной».

— Это будет несправедливая коммуна, Сергей Яковлевич, — возражал я. — У меня кроме килек ничего нет, а у вас продукты из ларька.

Кильки были основной едой в орловской тюрьме, как треска в соловецкой. А из килек — сперва я, а потом и остальные — готовили очень вкусные паштеты.

— Но ведь вы редкий мастер делать паштеты из килек, я их ем с удовольствием, иначе мои порции килек шли бы в парашу. Вот у нас и равные начала коммуны.

Но я упорно отказывался.

Однажды во время прогулки Гинзбург обратился ко мне:

— Вот что, Сурен, представьте себе такое положение: сидят в одной камере отец и сын. Может ли отец при сыне сам есть и не делиться с сыном тем, что имеет?

— Не может.

— Кроме тюремного пайка отцу дают еще разные кушанья, а сыну нет. Разве он может не делиться с сыном?

— Я понимаю, Сергей Яковлевич, и чему вы клоните. Но я не могу позволить себе, чтобы вы делились со мной продуктами, приобретенными в ларьке.

— А меня очень огорчает это дело. Мне в горло не лезет то, что покупаю. Я считаю вас близким мне человеком и, что скрывать, полюбил вас как сына. Мне будет легче, если мы будем питаться вместе.

Мы стали питаться вместе, но я старался находить причины для того, чтобы отказать то от того, то от другого. Кроме, конечно, папирос. В этом отношении я был его постоянным издвигенцем.

Через несколько дней он написал заявление на имя начальника тюрьмы и попросился к нему на вызов по личному вопросу.

Вернувшись от начальника тюрьмы, он сказал:

— Хороший он человек, уважил мою просьбу.

— А что за вопрос был у вас к нему, если не секрет? — спросил я.

— Вопрос сугубо личный, — уклонился от прямого ответа Гинзбург.

В очередной день выписки продуктов из ларька Гинзбург настаивал, чтобы я тоже заполнил бланк.

— Зачем это надо, Сергей Яковлевич? Я же знаю, что у меня на счету нет денег и никто мне их не присылает.

— Иногда просто необходимо проверить свой счет. Выпишите хотя бы только папиросы.

Каково было мое удивление, когда мне принесли папиросы и на бланке бухгалтерия написала справку, что у меня на счету имеется четыреста рублей.

Гинзбург улыбался хитровой улыбкой. Что, мол, съел?

— Но это же невероятно, Сергей Яковлевич! Как вы могли добиться этого?

— Это неважно, важно то, что дело сделано, а начальник тюрьмы молодец. Он человек, а не чиновник. Вы не смущайтесь, Сурен, я не дарю вам эти деньги, а одалживаю их. Условие такое: когда мы оба будем на свободе и вы будете работать, вернете мне долг. Хотя и говорят, что там, где армянин, еврею нечего делать, но, как видите, еврей перехитрил армянина, — шутил Гинзбург.

Так мы жили несколько месяцев. Гинзбург серьезно заболел и его забрали в больницу.

Когда пришедший за ним надзиратель предложил собраться с вещами, он стал очень нервничать, хотя и знал, что его забирают в больницу.

— А вдруг в другую камеру? — говорил он. — Неужели нас разлучат?

— Что вы, Сергей Яковлевич, ведь вы сами знаете, что вас забирают в больницу, — успокаивал я. — Вы там поправитесь и скоро вернетесь к нам.

Мы тепло попрощались, поцеловались, и когда дверь за ним захлопнулась, мне стало грустно и тоскливо среди этих чужих людей. Я тяжело переживал нашу разлуку. Ему тоже тяжело будет одному в больнице. Я ведь понимал, как сильно он полюбил меня.

Через три недели после того, как Гинзбурга перевели в больницу, врач зашла в нашу камеру с очередным обходом. Она помнила меня, спросила, не мучают ли головные боли, помогает ли домашняя подушка, хожу ли я на дополнительные прогулки.

Я поблагодарил за внимание и одновременно пожаловался на плохую работу сердца.

Она постукала, послушала и неопределенно сказала:

— Ничего серьезного, подлечим, все будет хорошо.

На следующий день пришли за мной.

— Собирайтесь с вещами.

Я был очень взволнован этим неожиданным событием. Сразу подумал о Гинзбурге, который вернется из больницы и не найдет меня.

Я попросил Карпеко:

— Вернется Сергей Яковлевич из больницы, передайте ему от меня большой, большой привет.

Привели меня в какой-то корпус — двухэтажное здание. Слегка обыскали, осмотрели личные вещи и ввели в одну из камер, на втором этаже. Это была двухместная камера. Одна койка пустовала, а на другой спал... Гинзбург. Да, да, Сергей Яковлевич. Он даже не проснулся. Я очень обрадовался, но мне было жаль будить старика.

Итак, меня перевели в больницу. По какому поводу? Неужели врач нашла в сердце что-нибудь серьезное?

Вдруг храп прекратился. Сергей Яковлевич кашлянул и проснулся. Но продолжал лежать лицом к стене.

— Повернулись задом и ноль внимания на гостя. Ай-ай-ай, как это невежливо, Сергей Яковлевич!

Он повернулся необычным для него резким движением, увидел меня...

— Боже мой, Сурен! Какими судьбами, неужели это вы?!

Мы обнялись.

— Ну вот, опять мы вместе, дорогой Сергей Яковлевич.

... — Я очень скучаю. Не потому, что сижу в одиночестве, нет. Одному лучше сидеть, ей богу, чем с такими подлецами, как Чайкин. Я скучал по тебе, — обрattился он ко мне впервые на «ты». — Ну, рассказывай, заболел, что ли? Какими судьбами ты попал в больницу?

Я рассказал, как было дело.

— Она славная, наша врач, а тебе очень симпатизирует. Я замечал, какими внимательными глазами она смотрит на тебя. Это очень хорошо, что ты здесь — питание несравненно лучше, и ты поправишься. Ну вот, а я уже перешел на «ты». Так лучше, правда?

— Вы намного старше меня, Сергей Яковлевич, вы будете со мной на «ты», а я с вами на «вы».

— Нет, не согласен, на «ты» и все. }

— Слушаюсь и повинуюсь. А вы знаете, я очень удивился, когда войдя в камеру, увидел вас, то есть тебя. Удивился, но еще больше обрадовался.

Больничное питание, сеансы физиотерапевтического лечения, которые я там принимал, спокойная обстановка сделали свое дело. Мы заметно поправились.

Была забыта наша килька, когда я часами сидел и очищал ее для приготовления паштета.

Через два месяца из больницы мы были возвращены в нашу прежнюю камеру.

Жизнь потекла по-старому. Кончился 1940-й и начался 1941-й год. Паштетом из килек и тортом из толокна встретили мы Новый год. Получали газеты следили за военными действиями гитлеровской Германии, знали о жестоких бомбардировках Лондона, Ковентри и других английских городов. Много разговора вызвала в камере подготовка Германии к форсированию Ла-Маншского пролива. Один утверждал, что немцы скоро будут на том берегу пролива, другой отрицал такую возможность.

Переписка с семьями почти у всех была налажена. Письма от матери приходили аккуратно. Незнакомый мне почерк, оказалось, принадлежал Оганезовой. Мама писала, что Майя тоже стала первоклассницей. Я получил новую фотографию детей и матери. Как дети выросли!.. Сколько тоски, сколько безутешного горя было в их глазах! Стоило больших усилий не разрыдаться, глядя на эту карточку...

Одно письмо матери вывело меня из равновесия. Она спрашивала, почему я так жестоко поступил с ней. С каким трудом она приготовила мне посылку, сколько слез и вместе с тем материнской теплоты и чувства вложила в нее, а я взял да отказался от получения, и эта посылка вернулась обратно. «Как я радовалась, когда сдавала посылку на почту и вдруг... «адресат отказался получить посылку». Разве можно так обижать мать?..»

Сердце разрывалось, когда я читал это письмо. В самом деле, какая жестокость, ничем не оправданная жестокость! Я представил состояние матери, когда ей вернули эту несчастную посылку и сказали, что адресат отказался получить ее. Я написал матери, что никакого понятия не имел о посылке и ее вернули только потому, что арестованным не разрешают получать посылки из дому. Я ей много раз писал об этом, о том, что посылки присылать не надо, так как это не разрешается, но мать не поверила. Как это можно, чтобы не разрешали заключенным получение посылок?

Удивительное всего было то, что и мне передали письмо матери о возвращении посылки, и мать получила то письмо, в котором я написал, что это ложь.

22 июня 1941 года у нас отобрали вчерашнюю газету, но новую не дали. Мы сперва не реагировали на это, так как некоторые дежурные имели привычку сперва сгибать старые номера, а уж потом раздавать свежие. Но... газету не дали.

На следующий день мы заявили об этом дежурному и получили исчерпывающий ответ:

— Когда дадут, тогда и получите. Понятно?

Мы ничего не знали о нападении фашистской Германии на Советский Союз.

Через несколько дней приняли меры по затемнению окон. Как только зажигали свет, затемняли окна. Мы и этому не придали значения и полагали, что все это вызвано военными учениями.

Дня через два нам преподнесли новый сюрприз — порции хлеба стали намного меньше.

Мы вызвали старшего по корпусу и заявили ему об этом.

— Берите то, что дают, — буркнул старший.

— Но ведь нам дали карцерные пайки, — настаивали мы.

— Что вы мне ляпис говорите! — рассердился старший и захлопнул форточку.

С того дня этот старший был прозван нами «Ляпис».

Дело в том, что фамилии надзирателей, старших по корпусу и вообще тюремного персонала от нас скрывали. Чтобы отличить одного от другого, мы должны были их как-то называть. Это и порождало разные клички.

В последних числах августа Орел подвергся усиленной авиационной бомбардировке. Это было ночью. Бомбардировка длилась несколько часов. Электричество погасло. Принесли в камеру свечи. Форточку двери оставили открытой. Во время одного из взрывов оконная рама сорвалась и с грохотом упала в камеру. В это время Гинзбург спал и по обыкновению храпел, но когда рама упала, он проснулся.

Но даже тогда в камере не поверили, что идет война. Считали, что это не настоящая бомбардировка, а военные учения. Один я принял бомбардировку как следствие войны.

11-го сентября начался необычный шум в коридоре. Открывались двери камер, выводили людей.

«Очередная пертурбация началась», — думали мы и, как всегда бывает в таких случаях, сильно нервничали.

— Я пертурбации не боюсь, но очень опасаясь, что нас разлучат, — говорил Гинзбург.

Наконец, пришли к нам. Старший по корпусу вызвал Чайкина.

— С вещами? — спросил Чайкин.

— Ничего не надо, выходите так, — приказал дежурный.

Через несколько минут увели Майорова.

Мы, оставшиеся, ждали нашей очереди. Постепенно шум в коридоре утих и все успокоилось. Прошло около двух часов. Старший снова зашел к нам и вызвал Карпеко. Он уже собрал свои вещи в мешочек, но дежурный сказал, что вещи брать не надо.

Гинзбург и я остались одни.

Стало жутко. Знобило. Снова почувствовалась близость смерти. Она была здесь, она была рядом.

На следующий день после утреннего чая нам приказали собрать свои личные вещи.

На всякий случай мы с Гинзбургом очень тепло попрощались и обменялись адресами. Каждый из нас дал обещание найти другого в случае, если окажется на свободе.

На глазах Гинзбурга были слезы.

Но нас не разлучили. Всех заключенных собрали в большом тюремном дворе. Но где же те, которых вчера забрали из камеры? Их нигде не было. Я искал Бессонова, Петровского. Их тоже нигде не было.

Все предосторожности со стороны тюремного начальства были забыты. Во дворе мы чувствовали себя свободно, общались друг с другом, громко разговаривали. Мы узнали, что почти из всех камер вчера забрали людей, но никого из них здесь нет.

Вокруг меня крутился какой-то инвалид на костылях. Заговорил со мной и Гинзбургом. У меня в кармане бушлата была кружка со сливочным маслом. Его мы сбили в камере из купленной сметаны. Вдруг я обнаружил, что масло исчезло. Исчез и человек на костылях.

Все ясно.

Я стал искать инвалида. Нашел. Стремительно подошел к нему и сказал:

— Если через пять минут кружка с маслом не будет у меня в кармане, я

так раскрашу твою харю, что ты в этап не пойдешь. Понял, курва? — Повернулся и добавил: — А меня сам найдешь.

Он что-то хотел сказать, но я пошел прочь.

Я знал повадки уголовников. Такая решительность всегда на них действует.

Через несколько минут, ковыляя на костылях, с кружкой масла в руке он подошел ко мне.

— Ребята вылизали немного, — виноватым тоном сказал он.

— Ладно уж, но впредь знай.

Он вел себя очень кротко. Вероятно, принял меня за главаря какой-то шайки, наверно, у меня был очень грозный вид..

Начали выкрикивать фамилии. Составляли группы по 40 человек. Нас обыскали, тетради отобрали, на грузовиках отвезли на вокзал и загнали в товарный вагон.

В нашем вагоне оказались уголовники — 14 человек. Среди них был и похититель моего масла.

Да, трудный будет этап, такое окружение, подумал я.

Еще не отъехали от станции, дверь вагона открылась. Внизу стоял заместитель начальника тюрьмы Севостьянов. Я стоял около двери. Он посмотрел на меня, а потом спросил:

— Как ваша фамилия?

Я ответил.

— Вы будете старостой этого вагона. Вы несете ответственность за порядок в этом вагоне, — сказал он, записал мою фамилию и удалился.

Хорошее дело быть старостой вагона, в котором столько уголовников!

Но и у уголовников свои законы, свои традиции. Они беспрекословно подчиняются тому, кого признают своим авторитетом. Эпизод с украденным маслом убедил меня, что похититель масла пользуется авторитетом в своей среде.

— Вы будете моим помощником, — сказал я ему, — а то мне одному трудно будет...

Он охотно согласился.

Мы разделили вагон на три группы и каждая группа выбрала себе старшего. По совету моего помощника все уголовники были выделены в отдельную группу.

Каждый вагон должен был посылать своих людей за получением хлеба и рыбы на дорогу.

— Это дело надо поручить нам, сами понимаете... — многозначительно сказал мой помощник.

— Хорошо, но с условием, чтобы все, что полагается, приносили до последнего грамма. Отвечаешь?

— Факт! Головой отвечаю.

— Тогда валяй, будешь посылать своих ребят.

Часто, возвращаясь с продуктами, они доставали из тайников своей одежды еще кое-что.

— Вот это наш законный паек, а это там плохо лежало. Сами понимаете, пока каптер взвешивал, мы там наводили порядок.

— Это дело ваше, делите как хотите.

Они были очень довольны.

Наше путешествие в обществе уголовников прошло без инцидентов. Нас они не обижали, и в этом большая заслуга моего заместителя.

Но этап был трудный.

Две недели мы ехали в закрытом товарном вагоне. Вагон не проветривался.

Среди нас были и «новички», и мы узнали все. Тревожные были вести о ходе войны. Мы узнали, что почти вся Украина оккупирована немцами, что Днепророгэс взорван, наши войска отступают, оставляя врагу город за городом, что немцы подходят к Орлу.

Мы были угнетены и подавлены этими сообщениями.

Ехали в полной темноте. Вечерами не разрешали зажигать даже спички.

Продолжение следует



Геворг Эмин

Монолог Сиаманто

1915 год, апрель, Аяш

I

Кому явилась дьявольская мысль
 Поставить белоснежный наш Масис,
 Наш чистый, незапятнанный Масис
 В такое место, где и дни, и ночи
 Столетия напролет он кровото́чит?

Кому пришла такая мысль шальная
 Под сенью благодатной Арарата
 Устроить ад крошечный вместо рая?
 За чьи грехи нам послана расплата?
 Чем предки наши насолили богу,
 Что дал для жизни нам избитую дорогу,
 Чтоб мы не землю — камни засевали
 И не водой, а кровью поливали?

Кто выдумал, как допустил создатель,
 Чтоб древний наш народ, мудрец и созидатель,
 От первых дней, почти от сотворенья
 Стал постоянной жертвой престуленья?
 Чтобы на нас обрушился с востока
 Меч беспощадный Персии жестокой,
 Чтоб с запада враждебные стихии
 Вломились к нам с крестами Византии,
 Чтобы соседние могучие народы
 За право жить лишали нас свободы.

Чтоб нам чужую волю навязали,
 Чтобы познали мы коварство всех измен,
 Чтоб нам кинжалы к горлу приставляли,
 За жизнь — и душу требуя взамен.

Так долгие века мы избавленья ждали.
 Века прошли. И что они нам дали?
 Потоки крови да развалин груды...
 И если ждать спасенья лишь от чуда, —

¹ Сиаманто — один из крупнейших поэтов Западной Армении, ставший жертвой геноцида 1915 г., развязанного турецким правительством.

То, Господи, дай волею твоею
Мой древний, мой затравленный народ
Мне вывести, подобно Моисею,
Из горестной Армении моей,
Страны камней, обители смертей,
В ту землю, где покой он обретет,
Где он насилья над собой не встретит...
(А есть ли край такой на белом свете?)
Дай унести с собою наше семя,
Чтоб навсегда не высушило время
Наш древний корень — эпос наш святой
И наших песен горестный настой.

О Господи, ты волею своею
Даруй мне красноречье Моисея,
Дай слову моему и силу, и величье,
Магическое дай его косноязычье.
Дай посох мне из Моисеевой руки,
Чтоб исторгать из камня родники.
Дай посох мне, что был в руке пророка,
Чтоб в Красном море горя и тоски
Я для народа путь открыл широкий.

Пусть на пути к земле обетованной
Я встречу смерть, как Моисей пророк,
Но встанет мой народ на радостный порог
И вынесет мой прах на берег тот желанный.
Но где ты, Боже? Где ты, Боже правый?
Не хочешь слышать ты «Вестей кровавых»¹.

II

Скудеет, исчезает наше семя,
Мой честный род, народ, святое племя.
Как выстояли мы? Как выжить мы сумели?
Как в этом страшном мире уцелели,
Когда казались мы лишь горсточкой земли?
Мы были качеством. Мы качество несли...
А что взамен нам этот мир припас?
Он был количеством, мир, окружавший нас

Как выжили? Как выстоять смогли?
Как до сих пор не стерты мы с земли?
Ведь мы не лук и стрелы — арфу брали,
Мы не мечи, а буквы отковали,
Мы не оружие, а песни создавали,
Не армии — мечты мы собирали...
А мир вокруг на силу уповал,
Он для убийств оружие ковал.

И как не сжег нас мировой костер?
Как в пыль нас этот мир еще не стер,
Когда противиться мы злу не уставали?

¹ «Кровавые вести» — название одной из книг Сиаманто.

Мы донорами кровь столетьям отдавали.
И где б за правду битва ни велась,
Там кровь армянская святая пролилась...
Чью жизнь, чью веру род мой осквернил?
Мы крови не жалели, мир — чернил.

Как было выжить нам? Мы таяли, редели...
Но мы от века быть людьми хотели.
И хоть нам беды горькие достались,
Не озверели мы, людьми остались...
Мы в мир пришли, любя, надеясь, веря...
А мир нас встретил лютой пастью зверя.
Но берегли мы чистоту и веру,
Мы верили добру и доброму примеру...
Но за бедою шла на нас беда.
Безумный мир не ведаст стыда.

Ценили мы высокий дар, который
Преодолеть умел кровавые раздоры...
Как выжили мы, горсточка армян,
Когда от века мир насильем пьян?

Как было выжить, если мы от века
Уверовали в разум человека,
В добро и мудрость веровали строго
И жить хотели по заветам Бога,
А мир вокруг был грязен и циничен,
К страданиям малых глух и безразличен?

Страдания веры в нас не расшатали,
Не деньги мы богатством называли,
А светлые мгновенья вдохновенья
И мысли взлет в минуты озаренья...
О Господи, каким мы чудом живы?
И как не стер нас подлый мир наживы?

Скудеет, исчезает наше семя,
Мой честный род, народ, святое племя.

Двадцатый век! Наш просвещенный век!
Подумать только, как ты милосерд...
Печешься ты о твари самой малой.
Заботою твоей окружены,
Тобой от вымиранья спасены
И в Книгу Красную давно занесены
Гиены хищные, и волки, и шакалы.
И всех извечных недругов людей
Ты мудрою рукой оберегаешь,
Прощая всех (от ядовитых змей
До Каина), от гибели спасаешь.
Двадцатый век, помилуй и прости,
Народ мой в Красной Книге помести!
Но нет! Избавь! Ведь на ее страницах
Мы в прах давно могли бы превратиться.
О человечество! Записан твой позор
В кровавой книге боли и страдания:
Руины Вана, Муса-Даг... Тер-Зор...

И то, что мой народ на грани вымиранья.
Ты в Книгу Белую подробно занеси
Всех вдохновителей погромов и резни.
Презрением убийц и палачей казни!
И защити мой род, и мой народ спаси!
Спаси от истребления армяи!
Спаси! Мы горсть последняя семян.

О человечество, спешн на помощь к нам.
Ужель не хватит горестных примеров?
Ужель умолкнут голоса армян,
Как голоса ацтеков и шумеров?
Ужель сокровища, что мой народ имеет,
Тебе нужны не будут никогда,
И письма армян умолкнут навсегда,
И уж никто прочесть их не сумеет?

III

О справедливость людская,
Дай плюю я тебе в лицо...
СИАМАНТО

Плюю на всех, кто служит злу открыто,
Плюю на тех, чья подлость маской скрыта,
На книги все, на песни все и краски,
И на искусства сладенькие сказки.

На страсти ложные плюю с презреньем,
И на увядшие былых надежд цветы,
На тщетные надежды и мечты,
Что не дают от боли избавленья.

На громкие слова, с эффектом подносимы,
На речи пышные, с трибун произносимые,
И на овации, неискренне-горячие,
На армии, застывшие в строю...
Плюю в глаза намеренно незрячие!
На справедливость вашу я плюю!

Плюю, когда народ мой небольшой,
Талантом наделенный и душой,
Народ-строитель, добрый мой народ
За веком век, за годом год
Уничтожается безвинно, беспощадно,
С жестокостью тупой и кровожадной.
И это в наши дни прогресса и свобод
Насилие творит преступный сброд!..

И горше горьких мук, что оргия расправ,
Резни, разгула подлых палачей
Возможна в наши дни перед лицом держав,
Могучих армий и... пустых речей,
Под звуки живых, фарисейских фраз
И на виду у миллионов глаз.

Пируют изверги на горах мертвых тел...
Никто, никто помочь нам не хотел...
И ни одна из просвещенных стран
Руки не подняла, чтоб защитить армян!

И вот теперь, ты видишь, Боже правый,
Меня хотят купить и опозорить славой,
От стен Константинополя до Карса
Трагедию свести пытаются до фарса,
И Нобелевской премией меня
Надеются стреножить, как коня.
Но что за честь, скажите, для певца
Принять награду имени дельца,
Который, что вы там ни говорите,
Набил свою мошну на динамите?

Нет! Не венчайте лаврами меня!
Какие почести нужны на белом свете,
Когда я не могу и дня
Дышать на кровью залитой планете,
Когда не слезы — кровь сочится из-под век
В безумном мире в беспощадный век.

Теперь, когда опять бушует, словно гром,
Невиданный, неслыханный погром,
И гибнет мой народ, мой род, моя семья,
Усемерилась боль и ненависть моя!

И ненависть и боль кричат во мне, в поэте:
Я больше умирал, чем жил на этом свете,
Я больше умирал, чем пел и чем любил...
Я ни одной обиды не забыл.
Сиаманто́ я, в пламени стою,
Поэт Земли Армянской, разоренной,
Как Родина моя, приговоренный,
С народом я делю судьбу мою...
И вашей справедливости хваленой,
Завшнвленной, продажной, прокаженной,
В лицо немытое с презрением плюю!

Перевел Марк Рыжков



Юрий Карабчиевский

ТОСКА ПО АРМЕНИИ

Повесть

Каждый день мы читаем в газетах о том, как соседние страны сражаются друг против друга. Во многих странах идут кровавые междоусобные войны. Мир полон вражды друг к другу, ненависти. Брат убивает брата, отец убивает сына.

Вот почему глаз отдыхает на книге Юрия Карабчиевского «Тоска по Армении». Эта книга не о вражде, не о ненависти, понятной или непонятной — а о дружбе между народами, о любви одного народа к другому, о поисках общего мироощущения, о поисках близости, бесценной, потому что она дарит человеку радостное ощущение того, что он не одинок в человеческом мире, что рука братской помощи всегда готова протянуться, чтобы поддержать, помочь, сделать доброе дело.

Что такое дружба народов? Это настолько привычная формула, входящая в сознание каждого советского человека, что едва ли кто-нибудь представляет себе, как трудно за этой формулой увидеть человеческие отношения, увидеть реальную жизнь. Понятие почти стерлось в сознании, так часто повторяется оно в прессе, звучит с экрана, бросается в глаза с плакатов.

Ю. Карабчиевскому в своей книге удалось взглянуть в это понятие, отбросить его машинальность, сделать его вещественно ощутимым. «Тоска по Армении» — не случайное название. Это тоска по стране, в которой человек, еврей по крови, умом и сердцем принадлежащий русской культуре, чувствует свободу от национальных ограничений. В сущности говоря, это тоска по воплощенному в жизнь интернационализму.

Автор достигает своей цели размышлениями об обоюдной симпатии, связывающей оба народа, древняя история которых носит характерные черты сходства. Но дело здесь не в истории, хотя нельзя без глубокого волнения читать страницы, в которых рассказывается о замечательном памятнике жертвам резни 1915-го года и где сопоставляется это преступление со злодеяниями фашистов.

Не надо закрывать глаза на то, что национальная рознь существует и мешаает той полосе развития страны, которую мы переживаем. Вот почему повесть Юрия Карабчиевского так полезна для современного читателя и так актуальна. Она написана десять лет назад, но многие характеристики и оценки времени, которое сейчас называют застойным, совпадают в ней с нашими сегодняшними оценками. Однако то, что сегодня, в эпоху гласности, звучит публично и повсеместно, в те годы невозможно было представить на печатных страницах.

Книга Карабчиевского, в сущности говоря, не что иное, как отчет о командировке, написанный рукой талантливого писателя, который отправился в Армению как инженер, знаток толчайших аппаратов, наладчик, устраняющий беспорядок в этих аппаратах. И на первый взгляд, человек, сто-

ящий далеко от литературы. Но две профессии, не имеющие ничего общего друг с другом, счастливо соединяются в этой книге. Писатель точен, как инженер, а инженер разбирается в сложнейших человеческих отношениях, как писатель.

7 марта 1988

ВЕНИАМИН КАВЕРИН

Им хотелось бы знать, почему, и он отвечал:

— Потому что я их знаю теперь намного лучше. Они не лучше и не хуже других народов, но я люблю их чуточку больше других...

ВИДЬЯМ САРОЯН

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПРИЧИННЫЕ СВЯЗИ

1.

— Не грусти, — сказал бригадир Олег. — В Польшу не поехал — поедешь в Венгрию.

И вот я лечу в Армению.

Все взаимосвязано в этом мире. Сначала где-то там, за Кавказом, в загадочной и вожделенной стране, существующей для меня как литературный факт, в городе, выстроенном русскими писателями, — вдруг обнаруживается институт, вполне реальный, какой-нибудь «био-гео». И вбегает в лабораторию реальный заведующий, черный, с усиками — армянин. А его сотрудники, аспиранты и лаборанты сидят как ни в чем не бывало и дуются в налды. Налды тоже понятие литературное, такая, по-видимому, доска, а вместо клеток, допустим, кривые линии, извилистые, вроде армянских букв. И играющие там что-то такое делают — водят, кидают, может быть, щелкают ногтем. И вот... «Бездельники! — кричит заведующий. — Дармоеды! — кричит он им по-армянски (в каждом слове — Э. Ц и Ч) — Отчего не работаете? Зачем не работаете? Годовой отчет! Две диссертации! Что скажу? Кому покажу?»

Аспиранты, сотрудники и лаборанты, не дрогнув, не отрываясь от налд, продолжая щелкать левой рукой (по кубикам, что ли?), дружно поднимают правые руки и молча куда-то указывают. И вот, мой воображаемый взгляд вместе с реальным взглядом заведующего упирается в нечто в-углу-стоящее, с родными и близкими мне очертаниями, слегка приглушенными прозрачной попоной. Мы оба, я и заведующий, мгновенно все понимаем. Это наш родимый ТГС-12, термо-грависпектрофотометр, смертельно необходимый человечеству прибор, и он («о ужас» и «о радость», кричим мы одновременно, зав по-армянски, а я — как могу) — он сломался, он не работает, никто не виноват, и нужны ремонтники. Завлаб выбегает, взлетает по лестнице, вбегает в кабинет заведующего отделом, что-то быстро и горячо ему говорит. Тот сначала спорит, потом соглашается (армяне всегда между собой договорятся) и бежит дальше, наверх, к директору. Нет, к заместителю. Сначала к одному, потом к другому, по науке и по адм.-хоз. Там повторяется та же сцена, сначала спорят, потом соглашаются, и вот уже вызвали машинистку и она пронесится по кабинетам, ищет машинку с русским шрифтом (одна на весь институт). Зав и зам диктуют наперебой, поправляя друг друга в русской грамматике. «Просим выслать», — говорит зав. «Убедительно просим!» — добавляет зам. — «Ремонтников? — Нет! — Мастеров? — Нет! Спе-ци-а-листов!»

— Не грусти, — говорит между тем бригадир Олег. — Ну был я в Венгрии.

Ничего хорошего. Жара... Давай-ка лучше по Союзу посмотрим, что там у нас. Куда выберешь, туда и поедем. Например, в Армению, а?

— Слушай, — говорю я, — ты так не шути. Армения — это слишком серьезно. Для меня Армения знаешь... Лучше не надо.

— Ерунда! — говорит он и вынимает из папки бумагу с печатями. — Все ерунда! — и прихлопывает ее на столе ладонью. — Вот она где, у меня в кармане, твоя Армения!

2.

— Но учти, — кричит мне Олег в самолете, — сачковать не придется. Нам еще подсунули два письма, значит три прибора на четыре недели. Так что на субботы пока не рассчитывай...

Вибрирующий гул поглощает все интонации, я слышу только контуры слов и фраз. Похоже, будто их произносит машина или человек, потерявший гортань, с помощью специального генератора тона — я слышал однажды.

— Что! — то ли спрашивает он, то ли утверждает, вопроса в голосе нет. Я спохватываюсь. Что он такое сказал? Четыре недели?

— Да-да, — вибрирую я в ответ. — Понял, понял.

— Быков-то! — надсаживается Олег — Хорош гусь.

Ожидаемый им от меня вопрос я задаю беззвучно, одним только задергиванием головы.

— Вводит новую номенклатуру без пересмотра оптовых цен. Представляешь! Я сокрушенно трясую головой.

— «А что, говорит, чего вы хотите, та же модель.» Ну, какой! Я говорю: а вы трудоемкость прикинули? Ну, он что-то промычал и заткнулся.

Я трясую, трясую головой.

— Ничего! — кричу я Олегу. — Зато в Армении... Погода, наверно!

Он как бы не слышит.

— Ты программу на тыщу пятьсот настраивал? То-то, а может понадобится.

— В Гегард поедем, — ору я уже по нахалке. — В Эчмиадзин, в Гегард и еще куда-то, забыл название.

Он не отвечает, но отлипает и рассеянно отворачивается к окну. Я принимаю превентивные меры: открываю портфель, вытаскиваю книгу. Читать мне не хочется, мне хочется думать. И хочется разговаривать — но не об этом. И уж лучше читать, чем так разговаривать. Я раскрываю книгу.

Это книга об Армении — замечательная вещь, я читал ее по меньшей мере дважды сначала до конца и еще многократно в отрывках. И взял я ее с собой не для того, чтоб читать, а для того, чтобы здесь, в самолете, в промежутке между двумя существованиями, несколько раз раскрыть и закрыть и как-то подготовить свое восприятие. Я не листаю страниц, не пробегаю строчек, а сразу же мысленно воспроизвожу любой кусок по собственному выбору. Так наспех, за пятнадцать-двадцать минут, я выстраиваю некий образ Армении, увиденной чужими глазами. И хотя я знаю заранее, что сам я увижу другое, просто быть не может, чтоб то же самое, все же мне становится как-то спокойнее: для начала есть на что опереться...

Там, под нами, кажется, видно землю, но Олег сидит у окна и мне далеко тянуться. Он сидит, широко расставив длинные ноги, упиравшись коленями в переднее кресло. На коленях у него огромная синька со схемой. Он сразу замечает мое движение.

— Вот! — кричит он. — Шаговый двигатель! А это — фазочувствительный мост! А здесь надо еще разобраться. Потом поглядим, в Ереване!

И улыбается. В Ереване! Хороший парень...

ГЛАВА ВТОРАЯ ДЕНЬ ОТКРОВЕНИИ

1.

Вещей у нас вдвое больше, чем рук: инструменты, запчасти, схемы, инструкции; в моем портфеле банка какой-то краски — необычайно тяжелый гостинец от

начальника цеха его знакомому; личные вещи, а также книги. Я везу еще пластмассовый бочонок для вина, стыдливо упрятанный в холщовую сумку, а Олег — решетчатый ящик для фруктов, заполненный запасными деталями. И еще у меня кое-что есть в чемодане: завернутый в плотную бумагу пакет, а в нем килограмма на три рукописей...

Вещей вдвое больше, чем рук, но нас обещали встречать с машиной. Двое, сказал я из Москвы по телефону, один рыжий, другой с бородой и лысый. «Прекрасно! — ответил мужской голос с легким приятным акцентом. — Будем ориентироваться на бороду». Лучше бы он ориентировался на рыжего. Такого, как Олег, здорового красавца с чисто русской, нет, скорее прибалтийской, да что там — немецкой светло-рыжей шевелюрой, другого такого в аэропорту не было. Зато лысых и чернобородых — великое множество. И наш милейший Тигран Мигранович, тот самый мной воображенный завлаб, искал нас с Олегом довольно долго, переходя от одной бороды к другой. И когда он уже должен был заметить и нас, разумеется, в последнюю очередь, я, как назло, оставил Олега без главных опознавательных знаков, унеся свою бороду вместе с лысиной в зал ожидания. Там я собирался сходить в туалет, а затем или даже одновременно полюбоваться на ереванскую публику. Про туалет я здесь говорить не буду, но публика была, как видно, хорошая, ничего мне плохого не сделала. Впрочем, говорили все не по-русски. Когда я вернулся, они уже встретились. Наш измученный хозяин, перебрав все бороды, с отчаянья кинулся все же на рыжего. Что ж, вот он, тот самый легкий акцент, острые живые глаза, кажется, человек непрямой, но добрый. Усов нет, да они бы ему и не шли: лицо тонкое, узкое. Дружелюбно сутул, грациозно неловок. «Тигран», — сказал он, подавая мне руку, и это мне тоже сразу понравилось. Мне понравилось — что без отчества.

Я всегда воспринимаю их как-то болезненно, эти отчества инородцев. Здесь, по-моему, многое сходится. Если ты к своему азиатскому имени, или европейскому, все равно, постоянно приставляешь русский суффикс, то это для тебя не проходит бесследно, это становится частью личности и меняет не только взаимоотношения, но и мироощущение, в конечном счете. Амбарцум — хорошо. Амазасп — прекрасно. Но Амбарцум Амазаспович — это уродливо. Здесь не только борьба чужеродных звучаний, но и ярко выраженная подчиненность, клеймо государственности на лбу. Амазаспович — это пахнет паспортом, здесь прописка, военнo-учетный стол, восемь страниц анкеты и прочие наши дела. И вместе с тем — какая-то несерьезность, пародийность, издевка, унижительная игра. Почти так же, как в чисто еврейских сочетаниях: Абрам Исакович...

И в Армении — потом я отмечал это всюду — крайне редко употребляют отчества, чаще всего — в присутствии русских, по отношению к ним или для них. Быть может, приведенные соображения живут подспудно в сознании армян, но скорее здесь просто врожденное чувство слова, да еще — царственная простота отношений. По имени и почти сразу на «ты» — и девяносто процентов неловкости, столь обычной при общении с чужими людьми, устраняется с первых же слов.

Тигран — Юра. Мы познакомились. Погода в Ереване, погода в Москве. Как долетели, багаж, машина. Идем к машине. Тигран перекошен влево. Он не рассчитал. В левой руке у него плащ Олега и мой не очень большой портфель, в котором тот самый тяжеленный подарок. А в правой большая холщовая сумка с пустым бочонком. Воздух в бочонке ничего не весит, поскольку выталкивается окружающим воздухом. Сверху бочонок прикрыт моим свитером, свитер, как видно, тоже выталкивается, рукав уже болтается сбоку. Мне неловко: такой элегантный Тигран... Но машина оказывается стареньким «газиком», и это меняет дело. Швыряем плащ, кидаем сумку, втискиваемся между какими-то палками, упираемся в чемоданы коленями, все прекрасно, поехали!

Шофер — совсем молоденький мальчик, лет восемнадцати. На обшарпанной приборной доске — немецкие переводные картинки с усредненными изображениями женских лиц. Побрякушки, сувенирчики — это все, как у нас. Но сверху, на перегородке ветрового стекла — большой серебряный крест. Ага, вот оно, думаю я. (Ничего не вот. И тут как у нас. Я успею еще убедиться. Такая же мо-

да: крестики, нолики...) Тигран сидит на переднем сиденье, но всем корпусом повернут, вывернут к нам. Едем быстро. Шоссе как шоссе: деревья, домики, пешеходы. Я жадно ищю глазами чего-нибудь—эх!—такого, но такого особенного нет ничего. Впрочем, быть может, я просто не вижу, я чувствую крайнее возбуждение, я слишком много думал об этой поездке. Шутка сказать — Армения! Просто так, сел, прилетел. «Думал, возьму, посмотрю, как живет в Эривани синица». Какая, кстати, синица, что он имел в виду? Быть может, в Ереване это и выяснится? Приезжаешь в Ереван, смотришь — синица. Ага, говоришь, значит вот оно что. Теперь понятно, про это как раз и стихи...

— Что у вас с прибором? — вдруг спрашивает Олег. — Сколько времени работал, какие неисправности?

Он деловой человек и он прав. Все же мы здесь не от Союза писателей.

— Что вообще вы скажете о нашем приборе, какого вы мнения, Тигран Мигранович?

Тигран чуть морщится. Он не жаждет иметь отчество. Он рассказывает о приборе. Он старается быть деликатным, Вы не обидитесь? Мы, конечно, хотели японский. И даже выбрали в министерстве. Но с валютой, знаете... А этот, ну что ж... Поворот на Эчмиадзин! — он вскидывает руку. Я дергаюсь, но ничего не вижу. Шоссе как шоссе, деревья, домики. — Работать можно, — говорит Тигран. — Но сейчас меня волнует другое. Дело в том, что... Я вам еще не сказал... Завод Арарат! — он вскидывает руку. Огромная кирпичная тюремного вида стена без окон. Коньяком, как будто, не пахнет. — Дело в том, что с гостиницей у нас не вышло. Но вы не волнуйтесь, что-нибудь придумаем, на улице вас не оставим...

— Та-ах, — тянет Олег, — ну вот и приехали.

2.

Какой-то тупик, неуклюжие ворота, грязный, захламленный двор. Но вывеска аккуратная, желтым по черному, на двух языках. Буквы, действительно, очень красивые, правильно сказано о них в этой книге, и в той, первой, ее предварявшей, и в тех, все начинавших стихах. Выразительные буквы, ничего не скажешь, просто хочется их читать.

Мы вылезаем, вытаскиваем вещи. Теперь Тигран уже знает: сумку мою с вышолзающим свитером он берет теперь в левую руку, а портфель — «что у вас там, гантели?» — в правую. Ковыляем по коридору, вползаем в лабораторию. Вот, знакомьтесь, говорит Тигран, — это мой заместитель. Толстый человек с добрейшим лицом, улыбаясь, встает нам навстречу. Все они здесь, что ли, такие добрые? «Здравствуйте, — говорит он, — Норик.» — «Юрик» — так и хочется мне сказать. Он в черном халате — наш брат инженер — в разговоре медлителен, но не связан, акцента чуть больше, чем у Тиграна, тот все же начальник, видимо, чаще бывает в России. Они обмениваются армянскими фразами, негромко, как бы между прочим, мол главное — это с нами по-русски, и Норик ведет нас в дирекцию. Секретарша — молодая, улыбчиво-строгая. Печать «прибытие» и сразу «убытие», там видно будет, какого числа. Это приятно, по-человечески. Документы, письма, две машинки... Русский шрифт! И опять русский! «Что вы, что вы, — машет рукой Норик, — армянская машинка — это редкость. Есть, есть, не могу сказать, но крайне редко. Да и зачем? Все делопроизводство — только по-русски.» Я пытаюсь поймать в его голосе досаду, но там ее нет, одна констатация. Я тоже хорош — как будто не знал. Это же ясно. И правильно, какая еще досада. Куда им писать по-армянски?. Мы идем к заместителю директора института. Ага, вот это другое дело. Хитроват, жестковат, щетки лоснятся. И все-таки, кажется, тоже вполне человек. «Норик, — говорит он, — сперва жильё. Поезжайте к Ашоту, поезжайте к Геворку, сначала люди должны быть устроены, а потом уже будем говорить о работе.» Мы спускаемся вниз. Тигран еще там. Оживленная, хотя и негромкая беседа. Имена Ашот и Геворк — различимы. «Может быть, пока что прибор посмотрим?» — спрашивает Олег. — «Нет-нет, — мотает головой Тигран, мне кажется, даже слегка испуганно, — сначала квартира.» — И хватается портфель. — «Инструменты, — поясняю я ему, — и запчасти...» — «Ну да, ну да, — он улыбается. — Гантели были бы легче.»

«Газика» уже во дворе нет, а стоит старинного вида автобус, обшарпанный и ненадежный. Внутри между сиденьями — бидоны и ящики. Но нам, конечно, места хватает. Шофер уже постарше того, наш ровесник. Все мы здесь примерно одного возраста — вокруг сорока. Выезжаем из ворот и едем по городу. Три часа дня, мы еще не пообедали, завтракали рано утром в Москве. Жара невыносимая, мы в пиджаках. Снимать не хочется: документы, деньги, не дай Бог, лучше уж так. «Сейчас хорошо, — говорит Норик, — конец сентября — лучшее время. В августе мы просто все задыхались».

Я смотрю по сторонам и ничего не понимаю. Нет, не так я представлял себе этот город. Не знаю, как, но не так. Прежде всего — какой-то он не армянский. Как будто выехали прежние жители и сразу въехало много армян. (Армянское нашествие? Захватили? Даже в шутку невозможно произнести. Ах, это ничего, это нам не помеха. Главное — выговорить первый раз, а потом уже каждый день повторять. И прилепится, и станет неотъемлемой частью. Может быть, турки так и делали?) И вот, город заполнен жителями, но как будто все не отсюда: не привыкли, не прижились. И дома, улицы к ним не привыкли. Мне трудно понять, в чем, собственно, дело, но первое впечатление было именно это, и потом оно в чем-то смягчалось, но в чем-то даже усиливалось. Тут была еще вот какая странная штука. Здания, мимо которых мы проезжали, производили какое-то временное впечатление, даже самые высокие и самые новые. Архитектура была, в основном, никакая, просто среднесоветская архитектура, это потом уже, бродя неторопливо пешком, мы обнаружили узловые точки, из которых пунктиром возник рисунок такого, а не другого города. Но пока я видел как раз промежутки, и город был не такой, другой. Да, все это были временянки, даже самые старые и обжитые, времен Днепрогосса и первых пятилеток — старшие уже, как видно, не было...

И вот, вот еще что: эти красные полотнища по краю крыши... Ну какая в них для меня неожиданность? Как будто их здесь могло не быть. Но странно, я их не предвидел. А они — вот они, тут как тут. Это уже не Амбарцум Амазаспович... И все понятно, не надо знать языка. Четыре высокие буквы в самом конце, две разные и две одинаковые, и после них восклицательный знак — как знакомо, как будто всю жизнь читал по-армянски! А вот немного другая фраза, тут в середине римские цифры, но и это нам тоже как семечки. Так легко перевести, так трудно понять... В той книге, что лежит у меня в портфеле, там прекрасно об этом сказано. Что вот, например, такими библейскими буквами: «Права и обязанности пассажиров аэрофлота» — какая оскорбительная нелепость! И вот я смотрю по сторонам и думаю, что там-то как раз никакой нелепости нет. Это необходимость, это быт, это жизнь, а жизнь — это не только стихи и молитвы. И самые прекрасные в мире буквы не унижены, если они несут сообщение. Но только — если несут.

И еще я думаю о том, что автор, умный и тонкий писатель, все это прекрасно видел и знал, но просто, по независящим обстоятельствам, заменил одну фразу другой. Как отважно выразился Самуил Маршак: «Я написать стихи готов, ребята, дорогие, но не печатаю стихов, печатают — д р у г и е!» И как бы в подтверждение такой подмены, в последнем издании этой повести те самые д р у г и е, не зная языка, перепутали в тексте армянские фразы. И выходит теперь, что первые слова, написанные по-армянски великим Маштоцем, были как раз о правах и обязанностях и именно пассажиров аэрофлота. Это могут заметить только армяне, и конечно, это курьез, анекдот, но при желании в нем можно увидеть и символ...

Едем, едем, едем. Поскрипываем корпусом, погромыхиваем бидонами, по-визгиваем тормозами, пованиваем бензином. Дышать не то чтобы нечем, но не так уж много и чем. Наконец, остановка. Тигран, шофер и Норик всасываются в какой-то подъезд. Мы тоже выходим: подышать, прогуляться. Пыль, жара, голод, жажда. Десять минут, двадцать минут, тридцать минут. Появляются, разговаривают, жестикулируют. Ну что? — Здесь не вышло, поехали дальше. Едем, едем, едем. Остановка. Все повторяется. Едем. «Вы нас, пожалуйста, извините, — говорит Норик, — Мы, конечно, вас подвели. Но мы обязательно что-то устроим, на улице вы не останетесь.» Я стараюсь улыбнуться — прекрасный же парень!

— я бормочу что-то взаимно-вежливое. «Будем надеяться, — говорит Олег жестовато. — Не уезжать же обратно в Москву». Деловой человек, он прав, как всегда. И вот они возвращаются в третий раз. «Все решено, — сообщает Норик. — С гостиницей ничего не выходит, но это вас не должно волновать. Сейчас мы поедем к моей маме, пока остановитесь у нее, а дня через три мы что-нибудь сделаем...»

Первое и сильнейшее мое желание — схватить вещи и убежать. По мне — так лучше в аэропорту, в комнате матери и ребенка или где там устраиваются в подобных случаях.

«И прошу вас, не чувствуйте никакой неловкости. Квартира большая, просто огромная, мама там совершенно одна, я ей позвонил, она уже ждет.»

— Да-да, — шепчу я Олегу, — с нетерпением...

Плоскостенный, конструктивистского времени дом, огромный квадрат с пустой сердцевиной, занимает целый квартал. Мы поднимаемся на третий этаж. Узкая бесконечная лестница. Норик отпирает своим ключом, и мы вваливаемся с чемоданами, с портфелями, с сумками, с бочонком и свитером. Маленькая, полная, еще не очень старая женщина, безотказная умница на вид и добрячка. Ну что за люди, неужели так будет и дальше?! «Входите, входите. — говорит она, — не стесняйтесь, здравствуйте, проходите, это можно сюда, будьте как дома.» Мы, конечно, стесняемся, неловкости полон рот. Из гостиной выносим диван-кровать, вносим в спальню, к имеющейся уже кровати. Это будет наша комната. Норик что-то мягко говорит матери, я различаю слово «торшер». Ставим торшер, ищем розетку, затем долго и хлопотно его включаем, надставляя куски проводов, причем я и Олег, мы едва не вырываем друг у друга кусачки: привычная работа снимает часть напряжения. «Ну вот, — заключает Норик, — располагайтесь, отдыхайте, надеюсь, вам будет удобно. Дня через три уладим с гостиницей, а пока ни о чем не волнуйтесь, отдыхайте, живите. К сожалению, нам с Тиграном надо идти. — Он улыбается. — Работа, работа... Вот вам ключи, будьте как дома, приходите, уходите, когда захочется.» «Мы, пожалуй, тоже, — говорит Олег, — пойдем прогуляемся.» (Он опять прав: есть охота смертельно.) «Хорошо, хорошо, — отвечает Норик, словно угадывая наши мысли, — но только, пожалуйста, далеко не ходите, через полчаса будет обед, мама быстренько приготовит, так что погуляйте слегка — и назад. У нас со столовыми здесь не очень, вы еще убедитесь (он улыбается), а домашнее все же совсем другое...» Тигран говорит ему. Он кивает. Он еще обнимает свою маму за плечи, что-то бормочет ей тихо, с улыбкой, открывает дверь, пропускает Тиграна, и мы оборачиваемся к хозяйке.

«Цогик Хореновна», — говорит она, и мы вынимаем записные книжки. Этого нам ни в жисть не запомнить. Цо-гик! Мы представляемся. Старая женщина, конечно, по отчеству, тут уж для нас вариантов нет. Хо-ре..

Мы обходим квартиру. Здесь — то, там — это. Квартира, действительно, довольно просторная, две большие комнаты, коридор, кухонка, душ, туалет. Широкий балкон (здесь говорят «хозяйственный») вдоль нашей комнаты, кухни и дальше к соседям. Но стены потрескавшиеся, закопченные, а мебель старая и убогая. Облезлый шкаф с выпадающей дверью («это будет ваш, можете вешать»), венские стулья — сто лет не видал («возьмите себе еще один»). Я ощущаю какую-то возню в своих мыслях. Это борется штамп «все армяне — богатые» с вот этой откровенной и так мне понятной бедностью.

— Места много, — говорит она. — Все дети разъехались, я одна осталась. Это хорошо, что вы приехали, теперь мне будет компания. Значит, вы Олег, а вы — Юра. Оба русские. Вы т о ж е р у с с к и й?

3.

Так просто был задан этот первый вопрос, главный вопрос ко мне в Армении. Сколько раз мне его будут здесь задавать, и сколько раз я буду вот так раздваиваться... Дома в России все было гораздо проще. Там, если спрашивают «русский — не русский», то это значит «еврей — не еврей», то есть ты как все или ты не как все. И тогда ответ однозначен: конечно другой, не как все, уж как там сумеешь произнести, смущенно потупясь, гордо, подчеркнуто просто. Но и воп-

рос этот устно задается редко, потому что если русский, то что ж тут такого, а если еврей, то уж лучше не надо, зачем вводить в неловкость присутствующих. У нас в России вопрос этот чисто письменный, а если предмет разговора, то в узком кругу. Вопрос, обязательный к написанию и запрещенный к произнесению.

Но здесь, в Ереване, я слышал на каждом шагу, в начале любого почти разговора: «русский — не русский?». Вопрос был тот же, но суть иная. Потому что он задавался с другой стороны. Всякий русский, задающий тот же вопрос, хочет он того или нет, выступает как представитель господствующей нации и значит, как бы невольный соавтор всех тех анкет. Оттого и стесняются в России спрашивать, корень этого чувства — комплекс вины. В Армении же — другое дело. Здесь представитель маленькой нации спрашивает тебя, такой же ли ты, как он, или русский, к а к в с е, кто приехал о т т у д а.

Это ведь очень понятно.

В наших поисках общения и понимания, а в конечном счете, сочувствия и близости, то есть всего того, что могло бы смягчить и скрасить наше — каждого — на земле одиночество, нам необходима какая-то общая точка, некое общее с собеседником качество, отличающее нас и его от большинства окружающих. В принципе это может быть что угодно, от радиолобительства до философских воззрений, от общей профессии до близкого возраста, но важен именно градиент, разность между вами и остальными. Филателистов, толпящихся у дверей магазина, спланивает не столько интерес к маркам, сколько то, что окружающие к ним равнодушны. Для Робинзона и Пятница — друг. Но филателист может охладеть к своим маркам, радиолобитель может заняться фотографией, армянин же — это всегда армянин, а в двадцатом веке окончательно выяснилось, что и еврей — всегда еврей. Здесь общее качество безоговорочно, оно незыблемо, в нем ты всегда уверен. И конечно, естественно, что это качество, стертое в однородной среде, в чужеродной получает высокую цену. Оно с несомненностью объединяет, потому что с несомненностью отличает, и при этом не завистит от обстоятельств, ни даже от нашего с вами желания. Здесь обеспечена теплота отношений, пусть минимальная, но безусловная. Какие-нибудь фантастические герои Ефремова, равно наделенные добродетелями и лишённые национальных отличий, не могут и понятия иметь о душевном тепле, поскольку не знают душевного холода. Близость какой-то группы людей равна их далекости от окружающих, и масштабы тут могут быть самые разные: семья, страна, континент, вселенная...

Нот вот вы встречаетесь с человеком не заведомо близким, а заведомо далеким. Вы представитель нацменьшинства, он представитель нацбольшинства. Нет — никакой там национальной вражды, никакой отчужденности, недоверия даже — глупо, ничего этого нет и в помине. Напротив, полная доброжелательность, уважение и просто — какая разница... Но человеку свойственен поиск путей сближения, всякий необходимый разговор как раз для этого и предназначен. Вы нащупываете, ищете и вот выясняется. Ну, допустим, вы оба учились в Минске или же оба читали Набокова. Это радость, это маленький праздник души, от которого кто же из нас откажется. Но если вы не учились в Минске, а на Набокова нет никакой надежды, то тогда остается что-нибудь проще, но, быть может, основательней, безусловней, такое, что захочешь, а не отвертись. Например, выясняется, что он, ваш гость, не вполне представитель великой нации, а тоже отчасти... и даже очень. И это тоже повод для тепла и сочувствия и, конечно, тоже праздник души, и армяне от него никогда не отказываются, и как хотите, а мне это нравится.

— Русский? — спрашивает старая женщина.

— Нет, — говорю я улыбаясь, — еврей.

И с удивлением чувствую, как легко мне вот так улыбаться, как легко и просто было ответить. «Еврей», — говорю я так легко и естественно, как если бы «украинец» или «эстонец», как в детстве замечательно объяснили мне дома: «Есть русские, украинцы, а есть евреи» — как будто так оно все и есть!

— Да-да, — говорит она тоже с улыбкой, — а я и смотрю: совсем армянин, почему по-армянски не разговаривает, нет, думаю, наверно, еврей, вот Олег русский, это сразу видно, такой светлый, совсем не похож, хотя и армяне бывают

светлые, сейчас много рыжих армян, и у нас говорят, что это правильно, что раньше все были такие светлые, и глаза были тоже голубые, не черные, а потом постепенно так изменились...

Я слушаю ее милую воркотню — и не слушаю, не могу, отворачиваюсь. Слезы умиления и благодарности застилают мне глаза. Старый дурак. Ну что, что тебе такого сказали?

Что сказали... Вот именно, что ничего!

4.

Мы вышли из подъезда, пошли направо, опять направо, опять направо, потом налево, прямо, налево... стараясь запомнить обратный путь. Значит обратно наоборот: направо, прямо, направо, налево... Но вскоре мы бросили это занятие, ясно стало, что это лишнее. Город был расчерчен прямоугольно, и зная общее направление, мы могли не беспокоиться, что заблудимся.

Прохожих попадалось довольно много, как и во всяком большом городе, но то, что все они были армяне, — к этому я никак не мог привыкнуть. Русской речи не было слышно нигде, и опять же, скажу заранее, что за весь этот месяц я слышал ее на улице дважды и каждый раз от приезжих. Армянами были старики в сквериках, продавцы в овощных и табачных киосках, дворники, дворничихи, милиционеры и прочие мужчины, женщины, дети, идущие навстречу и рядом. Продавщица мороженого показалась нам точно уж русской: круглолицая, светлая, сероглазая. Мы парочно задали ей какой-то вопрос — она ответила с таким непробойным акцентом, что мы закивали поспешно, как лошади, и шарахнулись дальше по тротуару. Нет, не могло быть никаких сомнений: мы находились в Армении!

И уже не в первый раз в этот день какое-то неясное, но приятное чувство окрасило эту простую мысль. Что-то личное и не вполне бескорыстное, но и не лишенное добродетели... Ах, еще бы поесть — и все замечательно! Но поесть было решительно негде. Мы шли, поворачивали, снова шли, мы осматривались, вглядывались, принюхивались — тщетно, нам ничего не светило. Норик был абсолютно прав. Ереванцы, к которым мы обращались, любезно останавливались, морщили лбы, неопределенно озирались по сторонам — и пожимали плечами, разводили руками. «Столовая, столовая... — бормотала она. — Ресторан есть, вон там за углом...» Мы разочарованно благодарили. О ресторане нечего было и думать: с нашими суточными, да еще на Кавказе...

— Вернуться? — неуверенно говорил Олег. — Все-таки нас пригласили...

Ну нет, тут я непримирим. Чужие люди, с какой стати!

Наконец — какой-то стеклянный угол, просвечивают круглые стоячие столики, просматриваются сосиски и хлеб. Не лучший вариант, но и то слава Богу. И пиво — надо же, в такую жару! Сосиски и пиво — совсем хорошо. Олег берет два стакана мутного кофе. Он не пьет ничего даже околоалкогольного — такая, говорит, у него аллергия, но еще, конечно, — профессиональная ненависть пострадавшего от алкашей бригадира. Хлеб особенный — плоский, слоистый, и много, что тоже прекрасно. «Русские любят много хлеба», — говорит, улыбаясь, буфетчица. Мы радостно киваем, мы любим много, много хлеба и много сосисок, особенно, если не ели с утра, и уже вечер, и устали, как лошади. Мы — любим, мы — р у с с к и е... Как мне приятно и это, и это тоже! Какая-то детская глупая радость, странная такая причуда судьбы. Надо было приехать в Армению, чтоб почувствовать себя настоящим русским, и не уже, и не беднее оттого, что еврей, а наоборот, богаче и шире. И вот — будет многое меняться в моих впечатлениях, дополняться в ту или другую сторону, но это останется и утвердится как главная моя благодарность армянам. Здесь я был настоящим русским и здесь я был настоящим евреем, и то и другое — без всякой ущербности, легко и достойно, и как хотел.

В тот день нам еще оставались две вещи: кино и японские зонтики. Зонтики продавали в универмаге, видимо, выбросили для плана, сентябрь, конец квартала — понятно. Хотя, честно говоря, не очень понятно, никогда я их не видел в свободной продаже, и никто из моих московских знакомых, и никто, как оказа-

лось, из ереванских. Но факт остается фактом — их продавали. И даже очереди почти не было, еще не кончился рабочий день, да и в голову никому не могло придти. Мы с Олегом тут же и кинулись. Мужской черный складной зонтик — это, пожалуй, единственная вещь, которая мне действительно была нужна. Работа разъездная, вечно шляешься, в дождь нацепляешь полиэтиленовый плащ, за шесть—сорок, с такими особыми петлями, жесткими, как петушиные клювы, которые рвут или пальцы, или самую ткань. А тут — вынул себе из портфеля, раскрыл и гуляй. Мечта! И тридцать рублей — не деньги. Прижмемся или из дому выпросим. Я купил один, Олег — три, близким родственникам в подарок. И вот мы гуляем по Еревану с четырьмя мужскими японскими зонтиками и активно общаемся с местными жителями. Почти никто не проходит мимо. «Простите, где?» — спрашивают у Олега и что-то невнятное — у меня. Я сначала тоже говорю: «Простите, нельзя ли...» и так далее, но потом привыкаю и сразу, без перевода, отвечаю, где и когда. Чем дальше мы отходим от универсама, тем меньше от нас к нему кидаются, и вот уже спрашивают и кивают и идут себе по своим делам. Все как в Ленинграде или Москве, такие же люди, куда им деться. Граждане, одним словом.

Но пора уже нам, наконец, посидеть, и мы берем билеты в кино и звоним нашей доброй Цогик Хореновне. «Ай, ну что же вы, — говорит она, — а я начинаю уже беспокоиться, думаю, города вы не знаете, заблудились, может быть. — И смеется. — Ну ладно, что ж, гуляйте, гуляйте.» Мы с Олегом заходим еще в продовольственный, покупаем плюху слоистого хлеба и бутылку мацуна. (Мацун? Что за мацун? Будем думать, не хуже кефира.) В кафетерии у входа в кино-театр, под наклонной, выражем закрученной крышей, мы берем по чашке черного кофе и просим стаканы — и нам их дают. Мацун не хуже кефира, но и не лучше. А может, и хуже — какой-то кислый. (Я узнаю потом от новых своих армянских друзей, что это не так, что мацун — даже очень вкусная штука, но только настоящий, не магазинный, потому что магазинный — это тьфу, не мацун!) Мы сидим не просто так в кафетерии, кафетерий вместе с кинотеатром — образец новейшей архитектуры: мы сидим и едим внутри образца. И снова то же странное впечатление: то ли дряхлости — ну нет, тут никак не подходит, то ли, значит, незаконченности, недостроенности, какой-то брошенности впопыхах. Грубо, кое-как уложенный кафель, корявый бетон со следами опалубки, рваные необлицованные провалы, уже выщербленные или еще не заполненные. Да и как-то не вяжется с окружающим: в ажурные, фигурные и какие там отверстия проглядывают грязные соседние стены, и всюду рядом с фасадом — испод, хоть шоры надавай на глаза.

— По идее неплохо, — говорит Олег, но строят халтурно, это уж точно. У нас и то аккуратней. А уж в Венгрии — никакого сравнения. Там тебе возьмут простой бетон, но так ювелирно его зальют, что не то что смотреть — рукой провести приятно.

— Лучше в Венгрии, — спрашиваю я, — чем в Армении?

— Ты меня не путай. Строят — лучше. Зато здесь, в Ереване, мне что нравится: говоришь — и все тебя понимают!

Я киваю ему, я улыбаюсь, я слушаю, я извлекаю свой, сентиментальный смысл. Да, думаю я, это ты верно, это ты, может быть, в самую точку. То есть так ли это или не так, но будем надеяться и очень хотелось бы, потому что это — самое главное, а не то, как строят дома...

И потом мы сидим наверху, под открытым небом, и смотрим замечательный английский фильм, где великий Питер О'Тулл, король, раздираемый насмерть жизненной силой, поджидает свою супругу-затворницу, а она, гениальная Кэтрин Хэйберн, в королевской ладье приближается к берегу, улыбается радостной, кроткой улыбкой и прячет ненавидящую свою любовь на дне огромных прекрасных глаз, как бы сдавленных узкой косынкой...

Я завидую Олегу, он смотрит впервые. Широкий цветной подвижный экран обрывается в черную пустоту. Звезд не видно: то ли мешает свет от экрана, то ли уже набегали тучи, откуда, такая была жара. Я чувствую, что кино — это лишнее, на сегодня и так достаточно. Перенапряжение, перевозбуждение. Я не

привык так резко менять свой быт. Самолет, Тигран, чужая квартира, чужая речь, предстоящие дни... Рядом Олег, вполне чужой человек, с которым я тоже вот так впервые. Вокруг армяне, на экране — Питер О'Тулл... Нет, это много, слишком много, невозможно вместиť. И вдруг — дробный такой говорок, и сходу, нахрапом, огромный дождь обрушивается на наши головы. Мы хватаем все четыре зонта, не сразу сходимся на одном, наконец, раскрываем, подсовываем головы, затем отделяем еще один. «Как мы кстати-то, — говорит Олег, — Ну как будто нам их нарочно подбросили.» К ручке моего раскрытого зонтика припутались нитками этикеток два других, зачехленных, так и висят. Половина зрителей исчезает (и так их было не густо), оставшиеся прикрываются, кто чем может, или жмутся к стене у экрана. Мне стыдно, у меня еще целых два зонтика, хорошо, что никто не видит. И вдруг мальчик лет десяти, в шортах и тенниске, весь трясующийся, подлезает ко мне под укрытие. «Ты откуда взялся, — говорю я ему, — как тебя пустили, фильм — до шестнадцати?» Он отвечает на почти непонятном русском, я различаю только, что «деньги дал». Комбинатор! Я сажаю его в середину между собой и Олегом, так теплее. И вот мы сидим под этим кавказским дождем, под японскими зонтиками, в Ереване, бригадир четвертой бригады Олег, армянский мальчик и я, и смотрим английский фильм, дублированный на русский.

«Да, я спала с твоим отцом, спала!» — радостно кричит королева Генриху, и он в ярости катается по сломе и обдирает пальцы о каменный пол.

Я то и дело сползаю глазами с экрана, прочерчиваю морозящую тьму и растерянно озираюсь вокруг. Как вместиť мне в слабом сознании всю эту бесконечную странную жизнь? Разве только так: не срываясь на обобщения, отдаваясь частности в каждый простой момент.

— Согрелся? — спрашиваю у мальчика.

— Да, говорит он, — хара-шо, тип-ло!

5.

Тот первый день еще так скоро не кончился, еще было позднее возвращение, осторожное, с оглядкой, не пропустить бы дом, и в чужую дверь со своими ключами, который сверху, который снизу, только разуться и мимо в комнату, но хозяйка наша еще не спит, «ну как, спрашивает, какая картина, идемте, чайник как раз закипел, чай у нас не совсем хороший, индийский почти нагода не бывает, а грузинский тоже второй сорт, и так сама себя обманываешь, вот, думаешь, чаю попою, а начинаешь пить — никакого вкуса, только что подкрашенный и горячий, варенья побольше и то хорошо...»

И вот мы уже сидим за большим столом, пьем чай, грызем прошлогодние пряники, обсасываем кизилковую мякоть, сплевываем косточки, не промазать бы, в ложечку и мирно беседуем под гул телевизора. На экране сначала женщина — диктор, затем ее сменяет пожилой мужчина с депутатским значком в петлице. Его галстук выпукл и симметричен и кажется наклеенным, как бутафорский нос. Голова неподвижна, взгляд устремлен в открытый космос, который только для нас — пустота, для него же — средоточие высшего смысла, поскольку именно здесь впереди, где-то, быть может, на нашем месте расположен текст его выступления. Армянский дурак приятнее русского: я хоть и понимаю его дословно, но все же как бы не слышу. Он мне не мешает и даже напротив. В паузах, которые мне нечем заполнить, я могу смотреть на него и слушать и свободно прилаживаться к следующей фразе. У Цогик Хореновны трое детей, и все мужчины, и все инженеры, и все такие же точно, как Норик — заботливые и добрые. И отец их был тоже такой, мягкий и добрый. Но наверно, такими быть нельзя, время сейчас ну просто дурное, чего не выхватишь сам, того не получишь. Нет, почему же, я так не сказала, не надо быть злым, это конечно, но и таким, как они, это тоже слишком. У Норика двое детей, давно защитил диссертацию, а все еще младший, старшим никак не берут, я говорю ему, может быть надо кому-то, знаете... У нас в Армении не то, что у вас, без этого ничего не добьешься. Ну, много бы он и не мог, но братья бы все собрались, наскребли бы несколько сотен... А у Вилика сына забрали в армию, такой нежный, домашний мальчик, думать о нем без слез не могу. Другие, знаете, сейчас какие. Молодежь. А он совсем не

такой. Книжки и книжки, в английской школе, по-русски много читал, по-английски читал, как по-русски. Зрение — шесть с половиной. Ничего, взяли. Теперь они всех берут без разбору. Сначала он написал, что не выдержит, а сейчас в госпитале лежит, там полегче, и письма стали получше. Может быть, его забракуют, а? Как вы думаете, минус шесть с половиной?

А потом мы сидим у себя в комнате, потрошим портфели и чемоданы, сортируем детали и инструменты, выкладываем носки и зубные щетки. Олег копается в описаниях и вдруг из-под их бесчувственной груды вытаскивает четыре аккуратненьких книжечки. Есенин, Евтушенко, Расул Гамзатов и «Лирика русских поэтов»... Не только удивление, что естественно, но какой-то я чувствую смутный толчок от странной закономерности этого списка. «Это, говорит он, мои спутники, я их всюду с собой вожу». И немного смущается, самую малость.

— Ты как, — спрашивает он, — к Расулу Гамзатову?

Что мне ему сказать?

— Я, знаешь, — говорю, — предпочитаю Джамбула Джабаева.

— Нет, серьезно. А к Евтушенко как?

— Серьезно — к лирике русских поэтов.

Я отвечаю ему не вполне внимательно, я занят своей догадкой.

— А Есенин!

— Что ж, Есенин, конечно...

Он начинает декламировать деревянным голосом:

«Устал я жить в родном краю в тоске по гречневым просторам...»

И тогда я окончательно утверждаюсь.

— Ну, а теперь с о е почитай, — говорю я ему как ни в чем не бывало.

Он краснеет, но улыбается.

— Откуда ты?...

И верно, откуда?

Да простит меня тень Сергея Есенина, но Есенин одно, Евтушенко другое, Гамзатов... ну, допустим, третье, но вместе... Какие уж тут сомнения!

— Ладно, — говорю я, — в другой раз. На сегодня достаточно.

И он с сожалением соглашается. Жаль мне его, но и сил моих больше нет.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

ЖИВЕМ

1.

Все простые утренние операции надо произвести совершенно неслышно, все только шепотом и на цыпочках, с неестественным сдерживающим усилием, как в замедленном фильме, трогая двери и другие предметы. Все это просто у себя дома, а здесь, в совершенно чужой квартире... Короче, когда мы уже с портфелями добираемся до своих пиджаков и туфель и уже в пиджаках, приседаем, шнурюем, еще секунда и мы за дверь — возмущенный голос Цогик Хореновы поднимает наши очи горе. «Как! — говорит она, — (доброе утро!) без завтрака?!»

Но главное у нас впереди, в институте.

«Видите ли,» — мнется Тигран. «Так получилось», — поясняет Норик. «Видите ли, так получилось, что вы приехали, а мы еще к вам не готовы. Мы вас ждали позже, думали так: пока провернется вся эта машина... А у нас здесь спор между отделами, неизвестно, кому какая комната, и значит, куда его ставить, этот прибор. Так что если у вас есть другая работа... А мы тут пока что выясним наши дела.»

И вот мы уже едем из этого био-гео в гео-био — совершенно другой институт. «Увидишь, — говорит мне Олег в автобусе, — срок нашей командировки кончится, а они ни о чем не договорятся.» — «Это бы ладно, это нам наплевать, если б мы не жили у мамы Норика.» — «Ну, это тоже как раз чепуха. Они обязаны нам предоставить.» — «Знаешь, обязаны — это одно, а тут конкретные отношения. А еще мы им ничего не сделаем, пусть не по нашей вине, но выйдет, что приехали просто так, посторонние люди и вот, живем.» — «Ерунда, старик,

не бери в голову, не надо быть таким щепетильным. Мы с тобой ничего плохого не сделали и нечего мучиться понапрасну.»

Автобус крутит наверх, наверх, на автобусе это «наверх» не кончается, и мы еще долго ползем пешком на высокую, сугубо научную гору, сплошь уставленную институтами. Молодая женщина в больших очках поднимается вместе с нами. «Гео-био? — говорит она. Идемте со мной. Впервые в Армении? Ну и как вам? Так уж и прекрасно? Не обольщайтесь. И не спешите ничего обобщать ни в ту, ни в другую сторону. Нет, у нас, конечно, много приятного, но и всякого, как и везде. И пожалуй, найдется кое-что сверх... Но взгляните, какой отсюда вид.»

Мы оглядываемся. Город остался внизу, во впадине за шоссеиной дорогой. Видно не очень ясно, но кое-что видно. «Да, — бормочу я, — сложный рельеф оживляет...» — «О, это еще не сложный рельеф. Вы еще увидите, если успеете Жаэв. Арагат сегодня в дымкеч Взамен посмотрите на Арагац.» Мы поворачиваемся вперед и налево. Горы как горы. Красиво, но что сказать? И мы переходим на анкетные данные. Сюзанна — так зовут эту женщину — оказывается, нас-то и мечтала встретить. Нет, у нее не ТГС-12, это у Миши, шестая комната, у нее старенький СФ-4, но, может быть, мы не откажем в любезности. Пропадает серия, чуть ли не год работы. Что ж, мы не откажем.

Здание института совершенно новое, год или два, как построили. Впечатлительные незаконченности, уже ставшее привычным. Серая строительная пыль по углам, ящики, козлы, бухты кабеля. Из четырех лифтов работает один, но вниз не ходит, а вверх не всегда. Приборы, оборудование... Господи Боже!

Много таскаясь по разным научным гнездам и, со свойственной профессионалам узостью, различая их все по оснащенности техникой, я часто с удивлением отмечал бесконечную градацию в этой области, редко поддающуюся прогнозам. Какая-нибудь осколочная лаборатория, маленькая отдельная группка, неизвестно даже, к кому относящаяся, а пожалуйста: английская центрифуга, японский флюориметр, шведский анализатор. В чем дело? А в том, что муж заведующей... Ну ладно, это еще понятно. Но вот Университет Патриса Лумумбы. Уж казалось бы, тут-то должно быть с иголочки, как игрушечка — нет, сплошная рухлядь. «Что ты! — сказал мне лаборант Алеша, с которым мы долго друг к другу прихивались, исследуя на предмет стукачества. — Что ты, какие приборы, зачем? Мы — идеологическая организация, на это и тратим деньги.»

Обычно же дело обстоит так. Входишь в лабораторию, оглядываешься и видишь: здесь живут богатые люди. У богатых, будь они деловые и умные, будь хоть бездельники и дубари, есть общее в поведении и разговоре: спокойствие, достоинство, даже часто важность, при этом обилие терминов, кличек, всяких английских словечек. У бедных наоборот: суета, торопливость, растворенная в воздухе неуверенность, язык бытовой, упрощенный, какие уж там словечки при такой-то убогой технике! С чисто научными результатами, если признать существование таковых, все это связано сложным и противоречивым образом. Помните, я работал в лаборатории, где эта разница в оснащенности, а следовательно, и в стиле жизни, наблюдалась в двух соседних комнатах. В одной без конца паслись инженеры и техники, а также слесари, столяры и электрики, туда — с ящичками, клетками, водяными банями, обратно — с темными пузырьками «рыжиками», оттопыривавшими карманы халатов. Сюда же водили и иностранцев. «Энд зыс ыз электрофизиолоджи бокс, констрактыд бай мистер Ткаченко». Занимался же мистер Ткаченко тем, что с помощью зарубежной аппаратуры и новейших средств автоматизации подтверждал выводы и результаты, полученные за сто лет до него. А в это время в соседней комнате, где стопки реферативных журналов обеспечивали необходимые наклоны трубок и взаимные уровни колб и где самым сложным прибором был дистиллятор, в этой комнате Гена Седых, никакой не мистер, открыл совершенно новый гормон, ужасно, как тогда говорили, важный, и чуть ли не на все на свете влияющий. Впоследствии Гена разбогател, тоже нахватал зарубежных железок, но больше уже ничего не открыл, зато любит и сейчас вспоминать свою честную бедность, те свои талантливые колбочки-трубочки и особенно — стопки реферативных журналов.

Олег — на первый этаж, к Мише, я — к Сюзанне, на третий этаж. Не знаю, как здесь обстоит с наукой, давно меня не волнуют такие вопросы, но техническое убожество вопиющее. Все — рухлядь и прошлый век. Теснота тоже, вполне соответствует. Прибор, старенький, весь разболтанный, кое-как еще на столе умещается, а уж блок питания — под столом, а подлезть к нему почти невозможно, и светскую беседу, которую мы с ней ведем непрерывно, я продолжаю уже на карачках, с тестером под мышкой, с рукояткой отвертки в кармане, с ощущением твердости крышки стола в голове.

— А картинную галерею, — спрашивает Сюзанна, — вы уже видели? Обязательно посмотрите. Во всей стране ничего подобного. Любые формы современной живописи, и есть безусловные мастера. (Я мычу нечто восхищенно-удивленное, с трудом удерживая равновесие, исхитряясь почти боковым зрением отметить положение стрелки прибора.) А в Эчмиадзине еще не были? Ну, и конечно, Гарни—Гегард?

— Мы же только вчера приехали, — говорю я ей, заменяя лампу.

— А! Ну тогда конечно. Мне казалось, вы здесь неделю.

— Нет, только вчера. Да-да, Эчмиадзин, Гарни, Гегард... Обо всем этом я только читал.

— У кого именно?

Я называю.

— А, эта! Знаменитая вещь. Сколько у нас здесь было шуму. А я прочла и мне не понравилось. Знаете, Армения там только в названии, а написано-то все о себе, об авторе. Такой раздражающий эгоцентризм. Вы не находите?

Я вылезаю из-под стола, с трудом выпрямляюсь. Мой рост кажется мне гигантским, голова взлетает под потолок.

— Нет, — говорю я, — не нахожу. Я считаю, что это прекрасная книга. Вот вы говорите эгоцентризм, где Армения, нет Армении. Но разве страна — Россия, Армения, Франция — разве может быть страна предметом искусства? Поводом — вот чем она может быть, и это в лучшем, счастливейшем случае. Такой случай тут и представился. И если вы такая патриотка Армении, то и радуйтесь, что именно ваша страна еще раз послужила поводом.

— Ого, как это вы горячо. А не много ли чести?

— Не много. Как раз в меру.

— Хорошо, значит Армения — только повод. Что же предмет?

— Ясно, что. Человек. Ну, скажем, душа...

— Так, человек. Но почему же именно автор?

— Вы хотите сказать, почему не армянин? Выбрал бы автор подходящего армянина, взял бы у него подробное интервью, а затем написал бы о его душе. Верно?

— Ну зачем же так упрощать. Значит, что же, по вашему, вообще нельзя написать о стране, о городе?

— Почему, можно, очень даже можно. Этот писатель, я считаю, как раз написал. Но даже абстрактный путеводитель отражает не только объект, но и тех, кто его сочинял, или тех, допустим, кто стоял у них за спиной.

— А вы, оказывается, идеалист.

— Ну что вы, где уж нам, вы мне льстите...

Она смеется. А я снижаю. Я чувствую, что слегка зарвался. Нет, она очень неглупая женщина, но э т о г о ей не надо. Я еще немного проскакиваю по инерции.

— Русская литература, — говорю я как будто в вату, — всегда была сильна не социальным анализом и даже не точной деталью быта, а как раз вот этим внутренним видением...

— Русская литература... — повторяет она. И вдруг:

— А вы... русский?

За два дня это только второй вопрос, но уже мне ясно, что не последний.

Что ж, беседуем и на эту тему. Но один вопрос основной и один — дополнительный.

— А язык с о й вы знаете?

Боже, как просто спросить и как сложно ответить! Не знаю? Или: мой — это русский? И с какой интонацией: легкомысленной, грустной, гордой? То мгновение, что я промалчиваю перед ответом, я слышу, заполняется сухими щелчками. Это лопаются готовые формулы, так надежно работавшие в России. Я русский, я самый настоящий русский. (Имелось в виду: такой же, как все.) И если бы не проклятая отметка в паспорте (имелось: не длинный нос, не форма глаз и ушей, не походка, не детские впечатления, не образ мышления, наконец), то я бы никогда и не вспоминал. А язык — да Господи! — ну конечно, этот и только он. Этот вездесущий, разлитый в любом пространстве, заполняющий каждый предмет, составляющий суть любого явления, обожаемый до боли, до сладострастия, знакомый до тонкостей, до извращений, и все же вечно непостижимый, мучительно ускользающий в каждый момент — какой же еще, как не этот! Какой же еще мне родной, когда я никакого другого и знать не знаю?.. И вот тут-то, может быть, червоточинка. «Никакого другого не знаю», — говорю я обычно, и точно ли? да, пожалуй так: с гордостью. Уж во всяком случае, без сожаления. Потому что это лишний раз подтверждает. Конечно, еврей, я не отказываюсь, но по сути, граждане, какой я еврей? Я ведь и языка-то такого еврейского... И на всякий случай — никакого другого, никакого-никакого-никакого другого, кроме нашего с вами, русского. (Я ж тебе р-русским языком говорю! Или иначе: ты что, не русский? Шутка.)

Когда мой сын, едва научившись словам, лепетал обычное детское «лак» и «лыба», нянечка в яслях сказала: «А может, он так и быть всегда. У вас ведь вся нация такая».

И сейчас, медля всего лишь мгновение перед тем, как ответить Сюзанне, я впервые чувствую, что лучше бы мне — утвердительно. И тогда бы мы с ней понимающе улыбнулись друг другу, что мол русский — это, конечно, само собой, ну как же, великий язык, чуть ли не всечеловеческий! И мы его знаем, она и я, как же иначе, высокие мысли, высокие чувства, тонкости стиля... Но и свой родной, армянский, еврейский, мы тоже, конечно, знаем и любим. И с наивной гордостью отмечаем, что вот и у нас бывает: такая точная фраза, а по-русски ну ни за что не скажешь. Но любим мы свой язык не за то-то и то-то и даже не за то, что он — единственный, а за то что боль его — наша боль, кровь его — наша кровь и судьба его — наша судьба.

Мне вдруг показалось, что в этот короткий миг, на второй день моего пребывания в Армении, я понял, чего не хватает в родном языке, если он не родной тебе по крови: в нем не хватает с у д ь б ы. Какой бы вклад ни вносили в русский язык татары, евреи, немцы и прочие («Бодуэн де Куртэн» — почему-то маячит в сознании), судьба его останется судьбой русского, этого и никакого другого народа.

Господи, думаю я, какое несчастье! Такой близкий, такой мне родной — и все же чего-то не воплотивший? Нет, я так просто не соглашусь, я еще буду думать, быть может, тут что-то не так...

— Нет, не знаю, — говорю я Сюзанне. — Разве что несколько слов и фраз. Пусть прогреется, — говорю я ей о приборе, и спускаюсь вниз, во двор, погулять. К Олегу я сейчас никак не могу, очень мне сейчас одиноко и грустно.

3.

Жарко, но не смертельно. Просто очень тепло. Я медленно обхожу вокруг здания, толкаю калитку ограды и оказываюсь на кладбище. Там, прямо за оградой, — кладбище, ничем не огороженное (ограда — институтская), просто в редколесье на пологом склоне выкопано несколько сот могил и поставлено несколько сот памятников. Памятники все, как один, гранитные, в основном, завитые армянские кресты и такие же завитые армянские буквы. Только цифры — наши, то есть, конечно, арабские. Русской надписи нет ни одной, и я ловлю себя на том, что мне это странно. Странно думать,

что кому-то легче написать по-армянски, чем по-русски. Или даже по-русски совсем невозможно, а только по-армянски. На могилах многих евреев тоже надписи по-еврейски, но это вовсе не значит, что писавшему было легче так, чем иначе. Часто надпись гравировал русский мастер, просто выучивший начертание букв или даже слепо копирующий трафарет. И тогда это уже не надпись вовсе, а такой же символ, как например, моголеновид: знак, что под данным камнем лежит еврей.

Я сажусь на чистую, крашенную черной краской лавочку возле камня с цифрами: 1868—1953. Родился с Горьким, думаю я, умер со Сталиным. Или родилась? Уже этого мне ни за что не узнать. «Как люб мне язык твой зловещий, твои молодые гроба, где буквы — кузнечные клещи, и каждое слово — скоба!» Люб? Не знаю. Я бы пока сказал — любопытен. Просто мучительно любопытен.

Тени здесь нет, но мне и не хочется в тень. Мне приятно сидеть вот так на солнце, такая ласковая сегодня жара, и от нервного озноба хорошо помогает...

Так что же это значит: писать на своем, нерусском, родном языке? Нет, я, конечно, не о могилах. Что должен чувствовать армянский писатель, и не какой-нибудь усредненный, а настоящий армянский писатель? Ну, например... Ах, что за игры, я прекрасно знаю, пример у меня один. Да, пусть так, что он должен чувствовать, это тот писатель, сидя в крохотной древней стране, среди чудом сохранившегося народа, выписывая, выписывая свои курчавые, никому в мире непонятные буковки, и зная, как говорил Петрову Ильфу, что до него уже были Флобер, Толстой, Мопассан? И Флобер, и Мопассан — это холодно, холодно, Толстой — это уже теплее, но стихия иного великого языка, с величайшей, быть может, литературой, окружающая, захлестывающая со всех сторон, — как ему это по ощущению? Не говоря уже о круге читателей, который должен быть здесь не намного шире круга родных и друзей?

Вот что она делает с человеком, Армения. Я как будто попал на другую планету, в неизвестное мне силовое поле и, как герой фантастического рассказа, нехотя, беспомощно перебирая ногами, движусь в направлении его вектора. И ведь никто мне, по сути, ничего не сказал, никаких не произошло со мной событий, это всего лишь он, невидимый вектор Армении, неуклонные силовые линии. Там, впереди, быть может, тибель — ничего не могу поделатъ, лечу. Вот только униженительно — спиной вперед, уж лучше повернусь лицом.

Итак, ощущение соответствия. Ощущаю ли я — несоответствие? Могу ли я его ощутить, не зная никакой другой возможности? Или скажем так: мысля по-русски и только по-русски, то есть некоторым определенным образом, можно ли тосковать по иному мышлению? Но тогда еще: а действительно ли по-русски я мыслю? Ах, уж тут, казалось бы, какие сомнения, тут же просто нет вариантов! И все же: а не остается ли еще чего-нибудь, ма-а-ленького какого-нибудь остаточка, требующего иного способа выражения? Вот! Именно что — остается!

Я даже вскакиваю со скамьи и, засунув руки в карманы, иду по дорожке. Вокруг нег никого, только выше, вдали, уже на живой земле, на кладбищенской, мальчишки шибают орехи с деревьев. «Армянские дети». Нельзя удержаться, чтобы мысленно не сказать. Вглядываюсь целенаправленно. Дети как дети. Ну черненькие. Нет, один даже светлый. Не пытайся, ничего тут не извлечешь. Лучше двигайся дальше. Двигаюсь дальше.

А по-русски ли ты, дружочек, мыслишь? Хороший вопросик со стороны. Как по-разному могут звучать одни и те же слова, смотря по тому, как произносятся. Впрочем, сейчас уже так примитивно никто не спрашивает, разве какой-нибудь алкаш в автобусе. Мой приятель, начитанный человек, христианин, аскет и мистик, выражает эту идею гораздо тоньше. «Ты хороший человек, — говорит он мне, — ты никому не делаешь зла, а какой-то там захват власти — это тебе смешно и подумать. И тем не менее, бессознательно, а вернее даже сверхчувственно, независимо от собственной своей воли, но в полном соответствии со своей природой, ты участвуешь в общем стремлении евреев к мировому господству!» Вот так, просто и совершенно неуживимо.

Но пусть мы отбросим мировое господство, все равно еще кое-что у нас останется: нечто, может быть, менее однозное, но зато более специфическое. И ока-

жется, что даже паройдийный **идиш** этому нечто как раз соответствует и худо-бедно, а отражает какие-то особенности национальной души. В нем, не в том, что означает фраза, а в самом строе и звучании языка, уже содержится весь тривиальный ряд, составляющий историю и характер европейского, по крайней мере, еврейства. Все эти гетто, местечки, шинки, погромы, лесть и хитрость, мягкость и юмор, тоска и горечь, плач и тоска — все это содержится в любом тексте, в песенке, в басенке, в обрывке разговора. Недостаточность перевода простейшей фразы мгновенно обнаруживает эту тайную особость, обнаруживает — не выявляя. Даже для меня, почти не знающего языка, еврейская фраза из еврейского быта порой звучит тепло и наполненно, а соответствующая русская — пусто и холодно. Ничего не поделаешь. «Шишков, прости, не знаю, как перевести». Не всю душу мира включает в себя великий язык, но лишь душу и судьбу народа, его создавшего. Остающиеся вне перевода особенности, если попытаться их сформулировать, могут звучать и не очень лестно: ущербность, двусмысленность, провинциальность — но это никак не меняет дела, ты слушаешь и чувствуешь: это т о е! Вот сестры Берри, наивные песенки, и только с десяток знакомых слов, и только угадывание смысла, который не стоил твоих усилий, — но какое ласковое, хмельное тепло и какая уютная детская радость! Откуда это оно берется, какое из восклицаний отражает суть: все-таки воспитание, или все-таки детство, или все-таки кровь? Я воскликну: все-таки кровь! — но не потому, что в чем-то уверен, а для вящей, скажем, универсальности, в том смысле, что все-таки ч т о т о есть. И едва успокоившись на этом слове, выверну действительность наизнанку — и в ужасе отпряну от такой возможности, и вздохну с облегчением, оттого, что она невозможна.

Если бы этот язык был моим родным. Страшно подумать! «Шолом-Алейхем» — в мозгу мотается колокол. «Шолом-Алейхем» — туда-сюда, двойной, но один и тот же звук. И как будто локтями упираешься в стены, душно, накурено, полутемно, а за дверью свежий воздух и свет, которые смертельны для глаз и легких...

И еще одно имя: **Бабель**. Бабель. А он кто такой?

Нет, у Бабеля евреи говорят по-русски. Это искаженный, стилизованный русский, сильно деформированный в еврейскую сторону, и все-таки это русский язык, не иной. Он двусмыслен, и в этом его эффект. Там угадываются два противостоящих фона, между которыми происходит действие: настоящий еврейский язык персонажей (идиш и немного древнееврейский) — с одной стороны; и с другой — чисто русский язык интеллигентного автора. Бабель знал еврейский, мог ли бы он — на нем? Так же ли, лучше ли получалось бы? Нелепый вопрос. Если владеешь малым языком — и великим, можно ли выбирать?

Я дохожу до конца кладбища, упираюсь в проселочную дорогу. Глубокие ямы в колеях, которые там, у нас в России, обязательно были бы заполнены водой, здесь растресканы и сухи до самого дна. (Я не знаю еще, что вчерашний дождь выпал специально для японского зонтика, что он был единственный за прошедший месяц и будет единственным за все предстоящие дни.) Поздно уже, пора назад.

Что же дальше, думаю я, какой выход и как жить? Как будто мне нужен какой-то выход и как будто есть у меня выбор. И все же я что-то себе отвечаю, подозревая, что это не вывод и следствие, а лишь композиционное завершение, удобная завитушка в финале, чтоб не мучило, не сверлило лотом. Все в порядке, говорю я, не только не плохо, но и прекрасно. Потому что в творчестве, как и в природе, только двойственность приносит плоды. И другие ищут ее в себе, души выворачивают наизнанку, а тебе — пожалуйста, от рожденья дано. И конечно, поиск — само собой, но нечто всегда уже есть в запасе. Радуйся же и восхваляй Господа и будь благодарен за все!

4.

Начинаются наши грудные будни на дружественной территории. Мы встали в семь, Олег раньше, полчаса он корчится на широком балконе, как вытасченный из земли червяк, в судорогах игольной гимнастики. Завтракаем почти

всегда одинаково: мацун, сыр, колбаса, огурцы, помидоры. Наши продукты лежат в холодильнике, Цогик Хореновна аккуратно их избегает. Вот наше масло, а вот ее, мы можем пользоваться и тем и другим, а она — только своим. Только чай мы ссыпаем в одну коробочку, и его нельзя уже отделить. Чай грузинский, низшего сорта, сколько ни заваривай, одного цвета и одного дурноватого вкуса. Предпочтительнее, поэтому, кусок арбуза, или груша, или, допустим, яблоко. В магазинах колбаса только вареная, одного сорта; сыр, если есть, то пластмассовой твердости, а родного армянского всеми любимого здесь чанаха почти не бывает. Овощи и фрукты не убийственно дешевые, цены чуть ниже, чем в Москве в августе, а времени приходится тратить побольше, двадцатью минутами нигде не отделаешься. Очередь — наш русский девиз и эмблема, наше бесспорное национальное свойство — здесь приобретает особые черты. За арбузами, допустим, пять человек, у нас это называется «нет никого». Занимаю, стою, болтаю авоськой. Подходит красивый седой старик, обращается ко мне, я, как всегда, извиняюсь: «Будьте добры, если можно, по-русски.» Он улыбается: «Вы — крайний?» «Последний» здесь тоже не говорят, мы уже успели им сообщить из Москвы, что это оскорбляет законную гордость рядового члена советской очереди. (Временами на этого члена что-то находит: он проявляет удивительную способность к абстракции.) Итак, за мной заняли, я утвердился на своем месте, проходит двадцать минут, а продавца нет. Нет, строго говоря, и арбузов, два-три с кулачок лежат на прилавке, а то, что хочется и надо купить, — где-то там, в глубине, в магазине, в подвале, не знаю, где. Мои соседи переговариваются, но мне неудобно спросить. Наконец, в магазине какой-то грохот, и двое мужчин, непрерывно крича, то ли друг другу, то ли кому-то третьему, вывозят на тележке клетку с арбузами и подкатывают ее к весам. Ну сейчас... Но нет, опять не то. Вынимают, кладут один за другим на весы, вот на весах уже целая куча, и подкатывает вдруг скрипучий «уазик», из него выскакивают, открывают кузов, грузят, суют деньги, машут руками, кричат. Толпа — а за мной уже целый хвост — тоже не молчит, добавляет свое. Продавцы отмахиваются, не глядя. Наконец, «уазик» отчаливает, очередь приходит в боевую готовность. Тронулось, продают! Женщина, стоявшая самой первой, берет три штуки в одну авоську, берет три штуки в другую авоську, и по два арбуза берут ее девочки. С разговорами тоже — минут семь. Но что-то они мешают уходить. А, ну вот. Подбегает еще одна женщина, быть может, соседка, вклинивается, притирается животом к прилавку, а та, первая, ее прикрывает. У этой второй нет девочек, но зато у нее есть бабушка, совсем скрюченная старушка, но на пару арбузов еще потянет. Остальные в это время тоже не дремлют, получают пополнение, или дремлют — ждут. Молодому интеллигентнейшему на вид человеку, с короткими бачками, в замшевой куртке, такой же интеллигентнейший чистенький мальчик приносит полосатый матрасный мешок. Очередь движется в обратную сторону, вернее разбужает вправо, как флюс: именно назад никто не сдвигается из чисто принципиальных соображений...

Я выхожу, комкая свою авоську, я отхожу на противоположный угол, в тень, и там стою еще какое-то время, поглаживая, заглаживая хвост раздражения. Ты с ума сошел, говорю я себе. Ты с ума сошел, на кого ты злишься! Разве они в чем-нибудь виноваты? Они — наоборот, они молодцы. Не они придумали эту очередь, им ее навязали как факт, и они обходят, как только могут, и хотя бы в этом несоблюдении, в этом уклонении от формы и строя проявляют себя живыми людьми. А арбузы — черт с ними, с арбузами. Им для детей, а тебе для кого? Когда это ты так для себя волновался? Пойди-ка лучше кофе попей...

Зато кофе можно выпить на каждом шагу — в магазинах, в кафетериях и в специальных кофейнях, и в кофейнях бывает даже очень вкусный, приготовленный по-турецки, в джезвах, в черном раскаленном песке. Повсюду висит объявление: восемь копеек, но надо, как минимум, дать пятнадцать, и это не пресловутое кавказское рвачество, а естественная рыночная цена. Сухого кофе в продаже нет, его привозят сюда из Москвы, где тоже очереди на час и полкило в одни ру-

ки. Говорят, что буфетчицы, полухозяйки кофеен, покупают на черном рынке по двенадцать рублей килограмм. Так что все еще очень побожески.*

Утром я пью свою чашку внизу в булочной. Иногда Олег ко мне присоединяется, но чаще берет стакан виноградного сока. Здесь уже не раскаленный песок, а машина «эспрессе», и кофе похуже, может быть, из отжимок. Но продавщица — очень милая женщина, стройная пожилая еврейка, то есть, конечно армянка, но очень похожа. Армян, похожих на евреев, — множество, и вероятно, от этого я тоже иногда чувствую себя ва-а-сточным человеком. Вот подходит к нам бородатый дедушка, очень похожий на моего, в каких-то калошках на босу ногу, сейчас спросит с еврейским акцентом..., но он спрашивает с армянским.

Мы выходим и идем напрямик на главную улицу, на проспект, разумеется, Ленина, ждем там минут пятнадцать автобуса, наконец, втискиваемся и едем. Автобус проезжает через весь проспект, затем сворачивает направо, это «Московян» — Московская улица, действительно напоминающая Москву уникальной своей длиной и закрученностью, и мимо современного фонтанно-озерного сквера, дальше, «Налбандяна», «Алавердяна»... Немного саднит от этих окончаний. Они однообразны в любом языке, но в русском хотя бы не под ударением. На этом фоне приятно сказать «Саят-Нова» и «Чаренц» или безличное, но прекрасное: «Тпагричнери». Это песенное, лестное для языка слово означает «печатников», улица Печатников, потому что **тпагрич** по-армянски — печатник. Автобус делает размашистый прицельный вираж, двигатель обнаруживает свое существование, и начинается долгое взятие горы, где спиралями, а где по прямой, с расслаблением мышц на редких теперь остановках. Разговоров не больше, чем в московском автобусе, старики потише, молодежь погромче, но здесь все слова на слух равнозначны, и поэтому автобусный разговор для меня все равно, что научный симпозиум. Но, между прочим, действительно, ни в какой толпе, самой спрессованной часом пик, не видел я здесь озлобленных лиц и не слышал проклятий в адрес соседней. И еще — совсем уже между прочим, но кстати — ни разу не видел на улице пьяного. Не то чтобы там в подворотне, в моча и грязи, а даже хотя бы развеселого, шаткого, приставучего и слюнявого забуддыгу, какие у нас ну просто на каждом шагу. И это не значит, что здесь не пьют, армяне умеют и любят выпить, но то ли неизменно чувствуют меру, то ли не выносят чрезмерность на люди, то ли, как свойственно интеллигентному сознанию, в любом состоянии сохраняют бодрствующим некий автоматический контрольный центр...

Мы тоже разговариваем по дороге, соседи не проявляют никакого внимания, как будто мы говорим по-армянски. Нас по-прежнему интересуют деловые вопросы: юстировка, равенство по энергиям, плавность хода магнитной муфты... Но я уже помню Расула Гамзатова и смотрю на Олега иначе, чем прежде. Он и всегда мне нравился, этот паренек: наивный, прямолинейный идеалист, возомнивший себя деловым человеком. Он как будто однажды решил и выбрал, хотя выбора у него и не было, и вогнал жизнь свою в колею: планы, расценки, партийные взносы, левые заработки, тягбы с начальством, любовь к технике, труддисциплина, крутеж-мухлеж, интересы завода... В этой странной смеси принудительного бескорыстия, безусловной корысти и дозволенных чувств, он как-то ухитрился сохранить естественность, хотя и без взгляда со стороны, а быть может как раз потому, что без этого взгляда. И вот оказывается вдобавок, кто бы подумал, что это для моего бригадира Олега не единственная среда обитания. Более того. Не какое-то там расхожее хобби, не подледный лов и не разведение шампиньонов, а выс-

х) Так стремительно меняется наша действительность, что едва скажешь о ней хотя бы два слова — надо тут же проверить, не опоздал ли. В данном случае я как раз опоздал. Начинать писать эту повесть — кофе был четыре с половиной, а еще не успел до середины дойти, как уже — двадцать рублей. Взамен подешевели на пятнадцать процентов литые сапоги из какого-то пластика. И вот, все у меня, казалось бы, то же: тот же стол, та же машинка, та же рукопись о том же предмете — но чашка на столе совсем другая: кофейный напиток «Кубань», двадцать копеек пачка. Цикорий, рожь, овес и ячмень.

шая отрешенность — поэт, так сказать, наш брат, литератор. Трогательно, ничего не скажешь.

— ... И головку надо у винта спилить, — говорит он занудливым менторским тоном. — Тогда она не будет вылезать за край, и можно будет утопить кольцо... Ты чего? А тогда уже... Ты чего улыбаешься?

Мы взбираемся на научную гору, срезая угол. Идем по жухлой граве среди кучек отбросов, и большие крысы выбегают у нас из-под ног. Слева, уступами — институты, справа — современный жилой массив, унылое серое пятиэтажье. Иногда мы останавливаемся, оглядываемся, смотрим на Арарат. Он бывает виден очень отчетливо, действительно, впечатляющая гора, хотя ей не хватает чего-нибудь рядом: человечка, автомобильчика, самолетика — для наглядного представления о величине. Конечно, это смешная мысль, ничего такого мелкого там не увидишь, но и эта невозможность уже помогает, вносит какое-то ощущение масштаба. Действительно, видишь: большая гора. Она удивительно что-то напоминает, просто мучительно на что-то похожа, она похожа... и наконец, вспоминаешь: она похожа на Арарат, на собственные многочисленные изображения.

Арарат — это армянский Кремль, символ, запечатленный миллионы раз, на гербах, на бутылках, открытках и вывесках, в названиях ресторанов, фирм и объединений, целиком и раздельно, по каждой из двух вершин. И вот так же, привыкнув к изображениям Кремля, фотографическим, упрощенным и стилизованным, бегучи в ГУМ по бывшей Никольской, увидишь вдруг Никольскую башню (отчего бы и ее не переименовать? Башня имени сорок пятого мартабря. Как мы только выговариваем все эти названия...) и вдруг слегка замедлишь свой бег, и коричневая молния на брюки сыну — непременно коричневая, восемнадцать сантиметров — потускнеет в нетерпеливом твоём воображении. И подумаешь: ну надо же — настоящая башня! И с недопустимым уже легкомыслием проскочишь дальше, за угол ГУМа, и если нет ни съезда, ни сессии и выход на площадь не охраняется, то окажется, что и главная, Спасская — тоже настоящая, из кирпича, и даже стрелки, и те — движутся. Ничего не придумано, все это есть.

Тут это сравнение, пожалуй, кончается, должно же оно где-нибудь кончиться. Потому что Кремль — у нас, в сердце России, а гора Арарат — за границей, в Турции. Но если говорить об одной недоступности, то и тут еще можно слегка поиграть, отступив назад лет на двадцать—тридцать. Да мне и сейчас еще кажется, что вот этот Кремль, куда так свободно входят дети через распахнутые Боровицкие ворота, что это другой, ненастоящий Кремль, существующий в каком-то ином пространстве, настоящий же только виден, но не доступен. И если вы скажете: как можно сравнивать! Кремль, не говоря о его рукотворности, — это символ могущества, власти, владения, Арарат же — это Божье творение, часть Армянской земли, символ потери... То я скажу, что и Кремль — символ потери и, может быть, не менее горькой. Потеря территории мне лично плохо понятна. Я сочувствую армянам, но уж как могу, а еще сильнее, быть может, завидую. Я как русский всегда имел территории больше, чем надо; я как еврей никогда не имел никакой территории.

5.

На первом этаже под шестым номером — крохотная двухкомнатная квартира без кухни, ванной и туалета, но есть раковина с холодной водой и электрическая плитка для кофе. Все это — владения аспиранта Миши, невысокого парнишки с красивыми усами и хитроватым, но беззлобным взглядом. В передней комнате стоит наш возлюбленный, наш в куски разобранный ТГС-12, и мы с Олегом над ним колдуем, а в соседней комнатке помещается Миша, крутит кофе, варит кофе, сидит за столом — пьет кофе. Никогда не забывает нас угостить, но мы не всегда вспоминаем выпить. Сроки нас поджимают, это не дома в Москве, и мы трудимся, трудимся, не покладая. Я, впрочем, менее сосредоточен, все же ответственность на Олеге, и поэтому изредка, старый сачок, оставляю его, разминаю спину и иду к Мише — потрепаться за жизнь. Миша не только пьет кофе, он еще переводит статью из журнала — на армянский, через англо-русский словарь. Тоже, не часто такое увидишь. Чудак, думаю я, писал бы уж прямо по-

русски. Нет, русский — это не прямо, это для него только средство. Результат — это когда по-армянски, когда предельное единство текста и мысли. Я вынимаю записную книжку и начинаю с Мишей игру в слова, ту самую, в которую с неизменным успехом играли все русские литераторы, когда-либо побывавшие в Армении. О эта тщетная попытка прорваться, достичь, проникнуть, заучив механически пару десятков слов! Представляю себе мое произношение. Итак, сначала — числительные. **Мек, ерку, ерек, чорс, хинг, вец, йот, ут, пинэ, тас.** Язык, действительно, великолепный. Плотный, насыщенный, физически ощутимый **Мек хат** — одна штука. **Мек гават сурч** — одна чашка кофе. Ну-с, что же дальше?

«Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить...»

Но когда мы втроем с Олегом и Мишей идем в буфет пить свой мацун, и Миша спрашивает буфетчицу: **Паныр чунэж?** — а она отвечает: **Чэ, паныр чунэм!** — я внезапно чувствую острую радость, потому что это для меня не пустое лопотанье, не какое-нибудь там каля-маля, да еще азиатское, без всякой надежды, а это он спросил ее, нет ли сыра, а она ему ответила, что сыра нет. **Паныр чунэм** — до чего же прекрасно! Сыра нет — ну просто замечательно!

Иногда я проводываю Сюзанну, с ней, единственной пока в этом городе, я могу действительно разговаривать, а не только что пользоваться словами. Мой статус иностранного гостя делает естественным и любопытным обсуждение вопросов, давно обсужденных каждым из нас в своей стране. Например, последняя повесть Трифонова. Очень жаль, конечно, талантлив, но это уже написано раньше, им самим и всеми другими, эквивок пятьдесят шестому году, и к тому же слишком широкий захват, и поэтому, в отличие от тех четырех... нет, она бы даже сказала, от трех, четвертая тоже... Или другая тема: кино. Тоже вопрос: отчего у грузин такие фильмы, а армянского кино как бы и вовсе нет? Как будто на это можно ответить. Но она пытается, и ответ ее мне интересен. Национальное искусство, по ее мнению, не может вскармливаться национализмом, а только терпимостью и широтой. Этот, казалось бы, парадокс, а на самом деле, очевидную истину, поняли грузины и не поняли армяне. И в таком коллективном и сложном искусстве это оказалось просто губительным. На Тбилисской студии — полный сбор: грузины, армяне, азербайджанцы, русские — и пусть те самые гениальные фильмы делают режиссеры-грузины, но обстановку терпимости и непредвзятости создают все сообща. А только в такой обстановке и можно серьезно работать. На Ереванской же студии все не так, там не только что не терпят никаких неармян, но и армяне сгруппированы по происхождению, все члены каждой съемочной группы — чуть ли не из одной деревни, и грызня между группами ужасающая. Вы себе не представляете, говорит Сюзанна, это может быть главное наше несчастье, такая маленькая страна, а местничество, как в большой федерации. И талантливые режиссеры у нас есть, можете мне поверить, но работать нет никакой возможности...

Я не знаю, насколько она права, я не был ни на Тбилисской, ни на Ереванской студиях, и вообще никогда на киностудии не был, но мысль ее мне безусловно нравится. Я вспоминаю, что нечто похожее слышал от знакомого киевлянина, работавшего на студии Довженко. Что ты, говорил он, какие фильмы! Евреев начисто не принимают, тех, кто еще остался, выгнали, какие же могут быть фильмы... И когда я, преодолевая дешевое самодовольство, попытался было восстановить справедливость, он остудил мое бескорыстное рвение. Да что ты, сказал он, ты меня не понял. Не в том дело, что евреи талантливей, а в том, что предвзятость и нетерпимость исключают творческую обстановку.

Разговоры разговорами, а работать приходится. Мы уходим домой никогда не раньше шести, иногда позже, иногда значительно позже. Миша ждет всегда до конца, потому что, во-первых, гостеприимство, во-вторых, он делает что-то свое, а в-третьих, этот прибор — его диссертация и он за него кровно переживает. Это очень кстати, что мы втроем, потому что говорить ни о чем невозможно, такая усталость, только добраться. А всем вместе можно и помолчать или только из-

редка перебрасываться, поскольку центр общения не на узкой оси, а где-то внутри треугольника.

Дорога освещается только окнами, мы спускаемся вниз почти в темноте, но тем ярче сияет город внизу в долине. Смена температуры довольно резкая, ветерок подгоняет, хотя дует не в спину, а в бок. Автобуса ждем на шоссе по двадцать минут, иногда нас спасает какой-нибудь поздний калымщик на «пазе» или даже на обычном городском автобусе со случайным, неуместным здесь номером рейса и с нелепыми названиями остановок, чуждыми этому району и этой трассе. Мы выходим где-то в своем районе, Миша остается, он едет дальше. Нам надо еще купить поесть, это дело, если относиться к нему всерьез, в вечернем Ереване невыполнимо. Очереди даже за хлебом, а если за свежим, то просто длинные. Знаменитый лаваш не продается нигде, его достают с переплатой по благу или у частников на базаре, но и там он тоже не всегда бывает. Наиболее распространённый хлеб — **матнакаш**, что-то вроде: «следы от пальцев», это невысокие круглые лепешки, по которым сверху идут борозды, быть может, действительно прочерченные пальцами. Хлеб этот хорош только очень свежий, слегка зачерствев, он становится почти несъедобным. «Э, разве теперь матнакаш! — вздыхает Цогик Хореновна. — Раньше был матнакаш — трое суток лежал и только становился еще вкуснее. А лаваш — разве это лаваш? Его же неприятно взять в руки, а кушать — просто не хочется. Ничего не делают добросовестно, всюду воруют и кое-как. Все говорят, хозяина нет. А я думаю, был бы сейчас хозяин, он бы ничего уже не мог поделать, потому что люди разучились быть честными... Так что зря вы купили так много хлеба, завтра он зачерствеет и надо выкинуть, а хлеб выкидывать — сердце болит.»

Мы пьем чай, глядим в телевизор, и начинается самое тяжкое время, два или три часа до сна, командировочная тоска, бессмыслица, пустота и чужбина. «Кушайте, кушайте, почему не кушаете?» Милая, добрая, чудесная женщина. Сколько можно жить в чужом доме?

— Цо-гик Хореновна! — начинает Олег. — Что-то Норик нам не звонит, с гостиницей, видно, не получается.

— Я вижу что вам здесь плохо. Почему хотите гостиницу? Там вас поселят с чужими людьми, туда не ходи, того не делай, здесь вам, по-моему, лучше, разве не так?

— Так-то так, безусловно лучше, но мы вас стесняем, нам неудобно.

— Оставьте, пожалуйста, какие неудобства! Я и так целый день скучаю, вы приходите, я хоть могу поговорить. Я сижу одна, **соединяю** телевизор, но что там хорошего, одно и то же, и он говорит, а я молчу. А Олег придет и Юра придет, другое дело, мне удовольствие.

— Ну хорошо, Цо-гик Хореновна, тогда давайте по-другому. Я, собственно, вот что хотел сказать. Нам действительно деваться теперь некуда, так давайте мы наши квартирные деньги...

— Что вы, что вы, какие деньги, об этом даже говорить неприлично!

— Но ведь нам все равно государство платит, специально за квартиру, что ж мы их будем присваивать, они по закону — ваши.

— Ай, не шутите, что там вам платят.

— Ну, сколько бы ни было, но все же...

— Не хочу говорить, Олег, перестаньте, пожалуйста. Даже настроение стало плохое. Не хочу говорить, не надо!

Перед сном я еще звоню по одному телефону: «его нет», говорят мне, или «он очень занят», «пожалуйста, извините, очень занят, если можно, пожалуйста, позвоните завтра» — и я с минуту после стою в оцепенении. «Что, — спрашивает Олег, — опять так же?» — «Да, вот что-то никак...» Полчаса в постели мы еще читаем, но не читаем, а разговариваем. Олег задает мне свои вопросы, и я, не имея силы отшучиваться, отвечаю серьезно, подробно и зло и трачу вдесятеро больше энергии. О эта видимость общей темы при полном отсутствии общих точек, нелепая и тупая досада и еще — суетный зуд просветительства, который я сам клеймил многократно, устно и письменно. «А Андрей Вознесенский? — спрашивает Олег. — А Горький? А Толстой? А Ирина Снегова?» По одной бы

только остроте на каждого, но что ж, если нет у меня этой остроты. И я делаю паузу, вдох и выдох, и начинаю разворачивать наступление, где ползком, где впрямую, где как попало, и грохочет, грочочет, моя атомная пушечка, а воробей, по которому я стреляю, ничего ему не делается, жив-жив, чирикает. Парадом развернув моих страниц войска... «Ну даешь! А Маяковский?» — спрашивает Олег. Я снова начинаю медленно, плавно, с азов, и чувствую, что так мне до утра не закончить, обрываю и сразу — резко, огульно, уже бездоказательно, уже неубедительно, даже для себя самого...

— Слушай, а ты часом сам не пописываешь?

Это он хорошо спросил. Молодец, Олег, двадцать копеек. Я бросаю взгляд на свой чемодан и немедленно отвожу его в сторону, словно боясь, что проткну обшивку, и Олег увидит внутри мои рукописи, что все эти разноцветные папки обнаружатся вдруг во внезапном вырыве, как мебель внутри разбомбленной квартиры.

— Что ты, — говорю я, — с ума сошел.

— А похоже, знаешь, похоже. Как-то ты очень заинтересованно споришь. Я и подумал было...

— Ну нет, Бог миловал.

— Да? И все твои интересы — в ту сторону. И знакомые писатели у тебя есть. Я и подумал...

— Да нет, успокойся, никаким боком, ничего подобного. И поздно, давай-ка спать.

Так загодя, еще до наступления ночи, задолго до первого петуха, трижды отрекаюсь я от своей веры...

А петух и на самом деле кричит, я слышу это сквозь сон. Просыпаюсь, но еще совершенно темно, засыпаю снова, опять просыпаюсь, еще немного, уже пора... «Да-да, — улыбается Цогик Хореновна, — петух. Прямо в городе и разводят. Одно время я тоже думала, тридцать три копейки цыпленок, и такой балкон все равно пропадает. Но потом подумала: ва, не надо мне это. Силы не те, и соседи будут ругаться. А вы кушайте, кушайте, почему не кушаете. Вы, смотрите я, мало кушаете, такой худой, это очень плохо, вот Олег молодец, хорошо кушает. Я вам буду рассказывать, а вы кушайте, домой приедете — что такое! — скажут, не кормят там в Ереване, такие эти армяне жадные...»

И смеется добродушно и хитровато.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ

1.

Наконец, мы подбираемся к культурным ценностям. Нет, мы не крадемся, мы летим на «рафике», мне покровительственно улыбается наш новый знакомый Володя, Владимир Камсарович, меня обнимает за плечи наш новый друг Аноп-Алик, и я тоже обнимаю и тоже улыбаюсь, настроение праздничное, замечательное и прекрасное, немного кружится голова, я весел, возбужден, доволен и рад, потому что впереди у меня Эчмиадзин, а позади — пол-литра коньячного спирта. Стремительный командировочный детектив. Выездная шайка с пулеметом в багажнике. Они разыскали нас в институте, вошли втроем, оттеснили, прижали. Они были готовы и вооружены, мы — безоружны и тоже готовы. Все решилось одним верным ударом: острие щедрости и изобилия под ложечку нищеты и корысти. И вот мы с Олегом уже повержены, скручены веревками доброжелательства, в которые незаметно для глаза вплетаются жесткие стальные нити взаимовыгодных обязательств. И уже нас волокут в бандитское логово, предупредительно пятясь и уступая дорогу. Прощай, Миша и гео-био!

Они привезли нас в свой химиконический, показали комнату, где стоял их прибор, затем мы прошли в кабинет к «Камсарычу», как впоследствии его называл Олег, сели в роскошные мягкие кресла, побеседовали о том, о сем, между прочим установили цену. «Пятьсот!» — твердо сказал Олег. Я в испуге дернулся,

но промолчал. «По рукам, — спокойно ответил Камсарыч, — сейчас приготовят кофе.» Он не был похож на армянина, скорее на английского стряпчего. По-русски он говорил почти без акцента, я бы даже сказал, совсем без акцента, если бы не твердые шилающие, но и в них, если не знать заранее, трудно было угадать армянское происхождение. Зато его приятель и подчиненный Акоп оказался уж совсем уникальным, больше я такого в Ереване не встретил. Когда после долгого трена с нами он кинул в сторону несколько быстрых фраз, то я подумал в первый момент, что просто не расслышал, оттого и не понял — настолько легка и чиста по-московски была его русская речь. Так нельзя говорить не на родном языке.

Между тем, очаровательная молодая женщина подкатила к нам столик с джезвой и чашками, Камсарыч вынул из сейфа бутылку: «Попробуйте и угадайте, что». Поуирашивали Олега, покачали головами, отступились и набросились на меня. Пилось прекрасно. Закуски не было. На рюмку слегка разведенного спирта — глоток кофе, под конец — символический, прикосновение губами к зернистой холодной гуще, медленно сползающей по стенке чашки. «Где были, что видели? — спросил Камсарыч. — Нигде? О, значит нам повезло. Через десять минут освободится наш «рафик», отвезем вас в Эчмиадзин. Если вы, конечно, не возражаете...»

И вот мы уже катим по городу, хорошо Олегу, но и мне ничего, мне пока даже лучше, а там посмотрим. «Завод Орджоникидзе, — показывает Камсарыч, — театр Сундукяна, церковь Саркиса, Разданское ущелье, новый стадион. А вот, повернитесь, взгляните налево, сегодня специально для вас хорошо виден **Масис** по которому тоскуют армяне. **Сис** хоть и ниже, но в облаках. Это, собственно, сам Арарат, а вот впереди — трест его имени.» Коньячная тюрьма проплывает мимо, и мы выскакиваем на шоссе, по которому ехали из аэропорта. «Юра, ты должен пойти в галерею!» — убеждает меня Акоп. — Я уже не говорю об армянах, современных и старых и зарубежных, но Ботичелли, но Фрагонар!» Я обещаю пойти немедленно. Вопрос о моей национальности выяснен, уже сказаны какие-то дежурные фразы, но Акоп долго жил в России и, видимо, хорошо усвоил стыдность и неловкость еврейской темы, тот назойливый вид, который она принимает даже в самых незначительных порциях. Поэтому разговор идет об армянах. Древняя культура, христианство, письменность. Непременные слова произнесены, теперь я начинаю выскребывать из памяти все фамилии на — ян или —янь, какие в ней только могли сохраниться. Я люблю армян, я обожаю все армянское, я столько слышал, столько читал, ничего я не слышал и нигде не читал. Я буксую и пытаюсь восполнить пробелы эпитетами и превосходными степенями. Акоп соглашается и дополняет. И вдруг, почти подряд два камушка, два порожка подбрасывают меня в этом плавном потоке. Я проскакиваю дальше, но возвращаюсь и ухватываюсь за них с нетрезвой цепкостью. Айвазовский, говорю я, плохой художник, и по-моему, им гордиться не следует... А Вильям Сароян — американский писатель, не имеет значения, что армянин.

Мне показалось, что заглох мотор — такая полнейшая образовалась пауза. Смягчить бы, сгладить, перевести. Но я непреклонен и не-сгибаем. Истина превыше всего. Сейчас я им все объясню и они согласятся. Буквализм, натурализм, литература в живописи. Я привожу слова Леонида Лиходеева, которые слышал от него когда-то в юности. Буквализм, натурализм, литература в живописи. В долгие зимние вечера, когда потеряно лето, хорошо рассматривать всей семьей такие картинки. «Не ждали». Пришел — где был? Или те, что контр-адмирал пописывали. «Девятый вал». Спасутся — не спасутся? И еще я вспоминаю рассказ Чехова об обеде в Феодосии, как Айвазовский посадил его рядом с собой, спросил: «Вы, кажется, пишете книги? А я вот никогда книг не читаю. Зачем? Я и так по всякому вопросу имею собственное мнение...»

У меня уже не хватает ясности взгляда, чтобы оценить, кто как молчит. Но молчат все, это мне ясно. И вдруг, совершенно неожиданно, вступает шофер. «Ни-кагда ни слышал, — говорит он, — ни-кагда! что Айвазовский — плохой художник. Ни-кто! мне такого ни гаварил!» Я смотрю на него и глазам не верю: он сидит лицом к нам, спиной к рулю, разговаривает и оживленно жестикулирует. Ну, сейчас мы врежемся!... Но мы не врежемся. Мы давно стоим, мы уже приеха-

ли, и мотор заглушен, так все и есть. Я еще бормочу по инерции: «Ну зачем он вам, Айвазовский, когда у вас есть Сарьян и Аветисян...» — но разговор уже, как видно, окончен. Камсарыч встает и Акоп встает. И вдруг Акоп садится обратно. «Еще минутку, Володя.» И уже обращаясь ко мне: «Ладно, оставим живопись (я так и не узнаю, согласен он со мной или нет). Оставим живопись и все, что касается вкуса. Но скажи мне, почему Сароян — не армянский писатель?»

Потому что — американский, говорю я ему. Потому что он пишет по-английски, а не по-армянски. Это факт американской литературы и английской языковой культуры. Язык определяет принадлежность писателя и только язык. Джозеф Конрад говорил по-английски с акцентом, и все же он английский писатель, а не польский. И Кафка — немецкий, а не чешский и не еврейский. Как Борис Пастернак — не еврейский поэт. И даже Мандельштам, никогда не замалчивавший своего происхождения, наоборот, с гордостью его объявлявший, был, тем не менее, русским поэтом и только русским. Можно говорить о вкладе нации в ту или иную культуру, но отечество писателя — его язык.

— Что ж, может быть, — говорит Акоп. — Может быть, у других это так. Сомневаюсь, но может быть. У других. У армян — иначе. **Где бы ты ни был, кричи: я армянин!** Знаешь такой рассказ у Сарояна?

Я не читал такого рассказа и вообще, по секрету сказать, не читал Сарояна (прочел уже потом, по прибытии), но название кажется мне потрясающим. Здорово, говорю я, ничего не скажешь, здорово, ладно, кто его знает, возможно, ты прав... И тут же, примерив на свой аршин, дважды наполнив это название иным содержанием, я испытываю острую зависть к армянам. **Где бы ты ни был, кричи: я армянин!** Прекрасно. Гордо, мужественно, трогательно. Где бы ты ни был кричи: я русский! Глупо. Русский, так русский, чего орать-то. Глупо и — подозрительно. Где бы ты ни был кричи: я еврей! Смешно, пародийно, анекдотично. Да и кто это станет кричать, какой идиот?..

Ничего мы не выяснили, но остались друзьями. Мы выходим на улицу почти в обнимку, Олег и Камсарыч за нами. Акоп — уроженец Эчмиадзина, и пока мы идем по аллее к храму, он рассказывает, как вот по этим дорожкам катался в детстве на велосипеде. Я намеренно не вслушиваюсь в его слова, я пытаюсь настроиться на нечто возвышенное: раннее христианство, четвертый век, католико-с, святые таинства... И упираюсь глазами в очередной цит-транспарант! Ну вот, мало что по-армянски, так еще специально для меня по-русски! И теперь долго остается во рту тупая тошнота привычных и бессмысленных словосочетаний...

«Ах, Россия-матушка, крепка твоя лапушка. Бьет ли, ласкает, а все она тут, все с нами!»

Только Пушкиным и разгонять эту нечисть...

Кружева ограды и выставленных вдоль нее чачкаров. Мы входим в ворота башенки храма маячат вдали сквозь зелень. И Акоп говорит мне... Не помню, что. Ничего не помню, что было дальше. Только зрительные-растительные ощущения. Только двуцветные кружева, зеленые — зелень и кофейные — камень. И над всем этим — башенки, башенки, башенки, много башенок, целых три штуки. Бутылок, я думаю, было две, и Камсарыч почти не пил, а мне без конца подливали, вот оно что... И последние мои слова, которые я еще помню, произнесенные уже без мысли и воли, О храме: какое гармоничное здание, но две боковые башенки лишние, я бы их снял. «Молодец! — говорит Акоп. — Если раньше не знал. — молодец! Боковые башенки лишние, поздняя пристройка, тринадцатый век.»

На обратном пути я помню коробку. Огромную плоскую картонную коробку, как два сложенных противня. Откуда-то из зелени, из глубины парка принесли ее Акоп и Камсарыч, и усевшись в машине рядом, положили себе на колени. Потом я увидел ее уже в помещении, в чистом прохладном зале со стульями-бочонками вдоль длинного стола, с застекленными стендами, в которых темнели колбы с вином. Этикетки с паспортными данными вин были то ли наклеены на каждую колбу, то ли приклонены к ней, уже не помню. Коробка стояла на столе раскрытая, там в лавашной скатерти, на подстилке из зелени, бугрились и поблескивали еще не остывшие длинные кебабы. Женщина в белом халате внесла под-

нос. Тоже — колбы и этикетки. Уж наверно, они были наклеены. Пили и ели и говорили тосты, и я позорно спал на своих ладонях, и никто не сделал мне замечания. Потом мы как-то оттуда выбрались, передавая друг другу слово «дегустация», в тот момент сонное и тошнотное. Но и это было еще не все. Мы еще заезжали в Звартноц, там смотрели рисунок прекрасного храма и видели разнообразные камни, из которых он будто бы состоял. Все камни, вне зависимости от формы, размеров и былой высоты положения, лежали на площадке на одном уровне, под огромным, уже потемневшим небом, лишенные всякого волевого импульса, бессильно подчинившиеся энтропии. Иллюстрация всеобщего равенства, сказал я Олегу. (За четкость сказанного не ручаюсь, но подумал довольно ясно, это я помню, благо мысль была готовая и не совсем моя).

Нас подвезли, спасибо, к самому дому, мы долго обнимались и трясли руки, и потом я спал ничком на кровати, не раздеваясь, а часов в десять, умывшись холодной водой, уже набирал заученный номер.

— Знаете что, — сказал я на этот раз. — Больше я ему звонить не буду. Я привез ему книги от его друга, я мог бы их просто передать, занести. Но если он захочет, пусть позвонит, запишите, пожалуйста.

— Ну что, — спрашивает Олег, — опять, как всегда?

— Мало ли, — говорю я, — занятой человек. И не надо, мне что, только книги отдать...

Потом мы пьем чай у Цогик Хореновны, смотрим телевизор, и я — с большим интересом, чего никогда не бывало. Молодой артист, очень музыкальный, поет без сопровождения народные песни. Не могу описать, как это прекрасно, как гармонично слиты голос, язык и мелодия. Добрейшая наша хозяйка порывается перевести слова, но я говорю: «Не надо, я все понимаю.» — «Так быстро научились? — смеется она. — Подумайте, ва! какой способный!»

2.

В субботу мы расстаемся с Олегом. Он идет шататься по городу, а я навещаю родственников. Да, вот так, ереванских родственников. У меня, чтоб вы знали, здесь живет троюродный брат Володя, и имеется телефон его тещи. Я звоню с утра — а он уже там. С женой и дочкой. Никаких «на днях», надо ехать немедленно. Это рядом, две остановки. Он встречает меня у трамвая, усатый и черный, как армянин, с живой очаровательной куклой на руках, уже безусловной армянкой. Он рад, я тоже, он добрый человек, мы давно не виделись. А главное, я чувствую с первых же слов, что у меня появляется объективный источник, наш человек в Ереване.

Но сначала спрашивает, конечно, он.

Ну что ж, говорю, по-моему, город не блеск. Рядовой средне-советский город, изо всех сил прущий в столицы. Отсюда этот пышный провинциальный замах, такая назойливая монументальность среди халтуры и всеобщей незавершенности. И вот, с одной стороны, официоз, выходишь, допустим, на площадь Ленина — и хочется предъявить документы. С другой стороны, тут же, через две улочки — самодельные жилые сараи, занавешенные каким-то тряпками, и рядом — общественная уборная, к которой на выстрел не подойдешь. А еще дальше, в пяти минутах, открывается вдруг такой модерн, такой вызывающе смелый поиск, что просто поражаешься, как разрешили. И порой, сознаешь, бываешь солидарен с теми, кто мог бы не разрешить, и даже сетуешь, что же они прощляпили! Потому что выполнено все очень небрежно и с фоном совершенно не сочетается, и от замысла остается лишь вызов и все тот же провинциальный замах.

Но это внешняя сторона, и она ничего отражать не может, кроме обычной нашей безалаберности и чиновных склок наверху. К собирательному понятию «армяне» это, как я понимаю, не имеет отношения. Армяне же мне безусловно нравятся. Что значит «все — не все»? Первая оторопь всеобщей приязни у меня уже, по-моему, прошла, я уже вполне различаю отдельные лица. И конечно, масса — всегда масса, чернь — она и в Африке чернь. Но что мне здесь импонирует бесконечно — это то, что стержень природного благородства я чувствую если не в каждом, то очень во многих, а если слегка отодвинуться — то и во

всех. Не в каждом, нет — но во всех вместе. Мне приятно общаться с армянами, мне удобно жить среди них, я ощущаю какую-то непривычную свободу, будто и вправду уехал в другую страну, и это не только потому, что — язык, естественное отчуждение и невмешательство, но и по многим другим причинам. Здесь и дух свободного предпринимательства, осеняющий в Армении любую деятельность; и очевидная чуждость, неуместность, навязанность всех наших рабских форм; и некий несомненно возвышающий импульс, который сообщен мне с первого дня, и это не за счет унижения окружающих, а наоборот, за счет всеобщей энергии, дающей чувство приподнятости и возможности. И общий тон доброжелательства — несомненен, и если ты скажешь, что это им выгодно, то ты ни на йоту не изменишь моего отношения. Быть добрым вообще, в конечном счете, выгодно, тем не менее, не все это хотят понимать. Ну, и еще один небескорыстный вывод, одно очень важное для меня подтверждение. Населения здесь не больше трех миллионов, остальные армяне рассеяны по белу свету. И вот, у этого крохотного народа, зажатого границами и горами, есть все, чем должна обладать нация. И те армяне, что сюда приезжают, на время и насовсем, и те, что никогда здесь не были и не будут, те, что знают армянокий и те, что не знают — все они чувствуют себя армянами и как бы подданными этой страны. И скажи им, что впереди у них — ассимиляция, растворение в другой, великой культуре, что они как легирующая присадка, и в этом их историческая миссия, скажи все это любому из них — он мало что слушать тебя не станет, он еще и плюнет тебе в глаза, будь он хоть тишайший интеллигент. И правильно сделает, молодец! Я люблю армян, я благодарен армянам, я пью за армян, пусть они будут здоровы и счастливы, мне это очень важно..

Этот спич я, конечно, произношу не на улице, а уже за рюмкой в тещином доме. Мы с трудом отваливаемся от стола и идем на балкон — подышать, покурить: мой братец Володя, жена его Аня, самая красивая армянка из всех, кого я встречал до сих пор, их чудесная кукольная девочка и я. Володя и Аня курят, мы с девочкой дышим дымом и воздухом. Внизу под нами — путаница деревянных заборов, домов и сараев. Оттуда гремит восточная музыка, такая мне вдруг чужая, что даже страшно, и валит дым, не густой, но постоянный. Музыка прерывается время от времени, тогда становится слышен многоголосый гогот и гвалт, он тоже смолкает и как бы сужается в один напряженный мужской голос, усиленный мегафоном. Внезапно раздается сухой щелчок, и зеленая ракета взлетает в небо. Почти мгновенная тишина, и как раз на перегибе светящейся траектории — снова гогот, гвалт и музыка. Свадьба, объясняет мне Аня. Азербайджанская свадьба. А дым — от мангала, жарят шашлык...

— Да, ты прав, говорит мне Володя, мой брат, полурусский — полуеврей, женатый на армянке и живущий в Ереване. — Ты прав, это страна замечательная. Но сколько я здесь живу, с первого дня, ну не с первого дня, с первого месяца, одна у меня мечта: уехать. Куда? Куда угодно, в любую дыру — но только в Россию!

Мы возвращаемся в комнату. Радужная теща. Разговорчивый тесть. Бывший полковник, ныне доблестно командующий пекарней. Тосты. Обманчивый импульс близости. Полковник общителен и скептичен. Раньше — да! А теперь — тьф-фу! Оказывается, раньше — это в войну и немного после. Сталин был армянином, вот оно что! Мать его была армянкой, точно известно. А отец — грузин, но тоже, как будто, не очень. Еще надо выяснить...

Тоска, Господи, вот ведь тоска! Нет противоядия против рабства, оно само отравляет любую чистоту и впитывает любую, даже чуждую, грязь. Уж казалось бы, вот вам единственный случай, где межнациональная вражда черни могла бы сыграть положительную роль. Хоть одна ненависть была бы оправдана. Так нет, здесь она как раз отключается, находит немыслимую лазейку. Еще странно, как это у нас в России ему не придумали какой-нибудь псковской матери. Ничего, и так проглотили. Вот на рынке, улыбчивый пружинский парень, никому в жизни не сделавший зла, хочешь — купи, не хочешь — не надо, пусть тебя твой магазин обеспечивает... Вот об этом выскажут все, что надо. Черномазый, черножопый, спекулянт, живодер. А тот живодер — не черномазый, очистился...

Ладно, говорю я, будьте здоровы. Армянин так армянин, я вас поздравляю. Мне пора, пошли, проводишь, Володя.

3.

А назавтра мы гуляем с Володей по городу и заходим в музей современной живописи. Очень интересно, да что там, поразительно, как у них только позволяют такое. У нас бы эти авторы и не мечтали выставиться, разве что под вывеской «свиноводство», при скандальном стечении алчущих толп, иностранных репортеров и стукачей.

— Армения ближе к Западу, — объясняет Володя, — Постоянное движение в обе стороны. Приезжают родственники, уезжают родственники. Ахпары — армянские братья оттуда жертвуют деньги и свои произведения — ты еще увидишь в Центральном музее. Ахпары, осевшие в Ереване, приехали тоже не с пустыми руками, привезли и деньги, и западный образ жизни. Армения в этом смысле страна уникальная, то есть она уникальна и в этом смысле. С одной стороны, древность и восточные корни, с другой — интеллектуальная близость к Западу, более спокойное его восприятие, чем, скажем, в России или даже в Прибалтике.

Я пользуюсь случаем, чтобы поймать его на слове.

— Значит, все же нравится тебе Армения?

— Что значит нравится, — говорит он, — чудак! Если бы я отсюда уехал, я бы каждый отпуск проводил в Ереване и весь год ждал бы этого отпуска. У меня здесь не только привычка, у меня здесь — друзья... Но вот я иду по улице и вдруг слышу чистую русскую речь — и весь холодею. Мне хочется кинуться к этому типу на шею, обнять, расцеловать его русские щеки и облил слезами его русский пиджак.

— Ну, пиджак-то окажется точно не русским...

Но это я болтаю так, по инерции, а сам думаю: вот оно как! А как же если — навсегда, безвозвратно? Разве только в этом «безвозвратно» и выход? Возможно ли это делает жизнь невозможной, а так — жил бы себе и жил... Это здесь, а там — все наоборот. Там, я думаю, именно возможность возврата была бы отлушиной и лазейкой, мог бы жить хоть двадцать лет, дыша в эту дырочку...

Мы выходим на светлую, яркую, жаркую улицу, проходим мимо крытого рынка (в Ереване все рынки — крытые), мы проходим мимо, потому что денег — в обрез, и хотя маячит уже впереди наша с Олегом халтура, а все же кто ее знает, еще поглядим... В крохотном, но уютном кафе, втиснувшимся между двумя домами, выпиваем по чашке прекрасного кофе, сидим, болтаем.

— И еще, — говорит мне Володя, — работа. Я устал от этих восточных темпов, от безалаберности, необязательности и больше всего — от собственного безделья. Я сижу в своем ИБ, читаю книжку, рисую карикатуры для стенгазеты, изредка подправляю чей-нибудь старый чертеж, слушаю и не слушаю разговоры, улавливаю какие-то обрывки смысла, вставляю свои русские пару слов, в основном, о футболе, то и дело выхожу в коридор и курю, курю без конца...

— Ну, ты даешь, — говорю я ему. — Да в любом московском КБ такая же точно картина, разумеется, за исключением языка. Это не армянский и не русский стиль, это наш всеобщий, сто раз обсужденный. И у себя в Донецке, вспомни, ты наверняка проклинал ту же самую безалаберность, только называл ее русской ленью.

— Да, — отвечает он, — все так и все же не так. Там бывали периоды настоящей работы, когда не хотелось идти обедать, когда я сидел вечерами и готов был остаться на ночь. А здесь о таком нелепо и думать. Зайдешь в цех: половина станков разобрана, половина еще не собрана. Рабочие сидят на станинах, курят. Если увидишь, что кто-то работает, не обольщайся: это для дома, для семьи. Однажды директор поручил мне собрать новый станок, и я, по наивности, принял это всерьез. Надо мной смеялись. Рабочие, которых мне подчинили, делали вид, что не понимают по-русски. Только изредка, когда я брался за что-нибудь тяжелое, мне из жалости помогали. В конце концов, я этот станок собрал и уже

год на нем никто не работает. А время идет, мне тридцать лет и я теряю квалификацию...

Да, думаю я, вот тебе раз. Безалаберность, легкость, необязательность — ведь это и юмор, и теплота. И для дома, для семьи — это тоже прекрасно. «Для сельского хозяйства» — говорят в Москве на почтовых ящиках. Придешь в цех, попросишь: вот такую релюшку. Тебя спрашивают: для работы? для сельского хозяйства? Если для работы — ни в жисть не найдут. А для «сельского» — не пожалеют никакого времени, перероют ящики, позвонят приятелю. Холодно, уютно искать для работы, для какого-то отвлеченного результата, для абстрактной пользы, для неведомого начальства, для его призрачного отчета. А для дома — это же удовольствие, это так понятно. Человек соберет себе фотореле, будет фотографии дочки печатать... Я люблю русскую лень и мне импонирует армянская безалаберность. Это творческая лень народа и человека, который вынужден заниматься не тем, не там и не так, как ему это свойственно от природы. Беспорядок, — это еще не беда, порядок — вот подлинное несчастье. Дисциплина, порядок, строй и прочие гражданские и военные радости...

Но как быть человеку, если его дело зависит от этих самых вещей? Он уже выбрал давно, и он не может иначе.

— Ладно, говорю я, — что тут поделатъ, наверно, такие мы все обреченные.. Нам надо жить у себя дома, уж какой он ни есть, этот дом. Давай, меняйся, возвращайся домой, а сюда будешь ездить в гости, меня прихватывать...

Мы идем вдоль длинного деревянного забора, такого неуместного в этом каменном городе, да еще на этой центральной улице. И вдруг — вывеска на калитке: Музей истории города. Зайдем? — Зайдем. Мы толкаем калитку, спускаемся вниз, в затененный дворик — и оказываемся в том единственном месте, которое я искал в Ереване. Не то чтобы я больше не хотел ничего здесь видеть, но это было единственное место, которое я искал заведомо и не из уважения к чужой святыне, а для поклонения своей собственной.

Мы стоим во дворике храма, но не церкви и не синагоги. Это двор Ереванской мечети. Самая мечеть — в глубине двора, странно, что мы не заметили с улицы ее лунно-звездчатый купол. Главное здание и какие-то пристройки расходятся буквой «П» вдоль забора, блестя глазированной плиткой с преобладанием голубого цвета, и расписаны хвостатыми письменами, синими, в один первевой росчерк, с одинаковым радиусом завитков, но с возрастающей высотой, если слева направо. Писали, конечно, справа налево, но сразу так не воспринимешь.

— Какая удача, — говорю я Болосе — Так просто: шли, толкнули калитку — и вот она, эта мечеть. Та самая!

4.

Я знаю, что не только для меня, для многих в России, Армению открыл Мандельштам. Сначала стихами, затем «Путешествием», а затем уже, по порядку чтения, так часто обратному написанию, — «Четвертой прозой». Но конечно, не Армению он открыл, а тягу к Армении, любовь к Армении, странную близость этой азиатской страны тоскующему европейскому сердцу.

«Если бы я поехал в Эривань, три дня и три ночи я бы сходил на станции в большие буфеты и ел бутерброды с черной икрой.

Халды-балды!

Я бы читал по дороге самую лучшую книгу Зошеники и я бы радовался, как татарин, укравший сто рублей.»

Это было написано им в счастливое время, насколько мы можем теперь судить. Ему еще оставалось несколько лет свободы, и какой свободы! Не какой-нибудь там заграничной, не имеющей цены, как вода и воздух, а нашей, бесценной, как вода и воздух, как один вдох и один глоток. Он еще съездил в свою Эривань, и хотя насчет черной икры сомнительно, но жизни и свободы вдохнул здесь

полную меру. С Армянских стихов начался совершенно новый период его жизни, после долгого удушья и немоты — гениальный взлет без единого спада до самой гибели. Одного этого мне достаточно, чтоб любить Армению. Но и прозаическое «Путешествие в Армению» я готов перечитывать без конца, и хотя не в моих интересах цитировать, но один кусок я сейчас приведу. В нем мне важен не стиль Мандельштама, не точность его наблюдений и даже, честно скажу, не Армения, то есть на этот раз не прямо она. Мне важен один персонаж.

«В этом году правление Центросоюза обратилось в Московский университет с просьбой рекомендовать им человека для посылки в Эривань. Имелось в виду наблюдение за выходом кошенили — мало кому известной насекомой твари. Из кошенили получается отличная карминная краска, если ее высушить и растереть в порошок.»

Терпение, дело не в кошенили, хотя, как увидим, отчасти и в ней.

«Выбор университета остановился на А. Б. Зотове, хорошо образованном молодом зоологе.. А. Б. ни в коем случае не был книжным червем. Наукой он занимался на ходу, имел какое-то прикосновение к саламандрам венского самоубийцы профессора Каммера, и пуще всего на свете любил музыку Баха, особенно одну инвенцию, исполняемую на духовых инструментах и взывавшуюся кверху, как готический фейерверк.

Зотов был...»

Здесь следует еще пара абзацев о Зотове, затем фантазии и вариации о цветах, ягодах и грибах, и вдруг — поразительная, брошенная между прочим фраза: «Разлука — младшая сестра смерти...» И еще вдруг:

«Итак, А. Б., вы уезжаете первым. Обстоятельства еще не позволяют мне следовать за вами. Я надеюсь, они изменятся.»

Что это значит?

Нет, ясно уже, что этот А. Б. — человек замечательный. И все же — что за разлука и зачем Мандельштаму за ним следовать?

И тут я обращаюсь к другому тексту, уже совсем сухому и протокольному.

«Стремясь сократить ввоз импортных продуктов, пищевое ведомство в 1929 году обратилось в Московский университет с запросом о возможности замены мексиканской кошенили каким-либо отечественным источником кармина. Ответить на этот запрос поручили, как энтомологу, мне.»

Ну вот, без кошенили не обойтись. Именно из-за этой красной козявки одновременно с Мандельштамом попал в Ереван Борис Сергеевич Кузин, он же загадочный А. Б. Зотов — энтомолог, историк науки и не просто любитель, но прекрасный знаток и толкователь Баха, и вообще — удивительный человек. Он не только познакомился здесь с Мандельштамом, он отныне стал его другом, и по-видимому, самым близким. Пресловутая кошениль явилась перекрестьем и общей точкой рассказа Мандельштама о Кузине и более поздних воспоминаний Кузина о Мандельштаме.

Кузин умер года четыре назад. Это был человек безусловно умный, широко образованный даже по тем, завышенным и оттого устаревшим меркам, но главное и отличительное его качество — это редкая нравственная чистота, пронесенная им через все перипетии вполне современной запутанной жизни, включая, конечно, аресты и лагеря, которых он попробовал еще прежде Мандельштама. Какая-то поминутная совестливость, почти детская, до наивности, прямого стоит за каждой им написанной фразой, создавая особый внелитературный стиль, вызывая чувства простые и добрые.

Кузин приехал в Эривань в командировку, так же, допустим, как мы с Олегом, но столь необходимая ему кошениль, обитавшая где-то в армянских долинах, еще не вышла из земли на поверхность, надо было ждать. К тому же, он только что перенес тиф и медленно восстанавливал силы. Он бродил по городу в поисках горячего чая и тихого места для отдыха — и нашел то и другое, случайно толкнув калитку и оказавшись неожиданно, как и мы с Володей, во двореке Эриванской мечети. Он пишет об этом со свойственной ему обстоятельностью:

«Я вошел во двор мечети и просто остолбенел. По соседству с самой непривлекательной частью города находился рай. Двор, выложенный камешными плитками, со всех сторон обсажен мощными вязами, создававшими защиту от пыли

окружающих улиц и, как казалось, даже от шума. Из-за деревьев проглядывали стены мечети и относящихся к ней построек. Посреди дворика находился небольшая прямоугольной формы бассейн с двумя фонтанчиками. В нем плавали две белые утки. Бассейн тоже был обсажен с двух сторон развесистыми карагачами, между которыми стояли массивные, вытесанные из камня скамьи. Под одним из деревьев помещался стол, а на нем — огромный желтой меди самовар и арсенал чайной посуды. Несколько тюрков, большей частью пожилых, сидели на скамьях, одни — молча, другие — негромко переговариваясь между собой, Чайчи, тоже немолодой, бесшумно и неторопливо разносил и убирал стаканы. Я присел на одной из скамей. Подошел чайчи и спросил: «Чай?» — Да. «Сладкий?» — Нет. Чай был, как всегда в чайханах, хорошо заварен и горячий.»

Кузин стал проводить здесь все дни подряд, и сюда же, в этот сказочный дворик, однажды забрел Манельштам. В их знакомстве примечательна она деталь. Кузин, вообще-то страстный читатель, предвидя сложности путешествия, взял с собой из Москвы только две книги, надеясь, как он сам говорит, «возместить количество качеством».

«Шел уже второй год, как мне вполне раскрылась поэзия Мандельштама... «Tristia» ударили меня всей своей силой в ту пору, когда я не мог ее не почувствовать... Небольшую книжечку в красной обложке я и решил взять с собой в долгое путешествие. Другая была — один из сборников Пастернака...»

И вот, по странному совпадению — такое было завихрение судьбы — пропустив мимо ушей фамилию нового своего знакомого, Кузин заговорил с ним о Пастернаке, опять же в связи с кошенилью.

«Я сказал, что о ней упоминает Пастернак и, как видно, грамотно. Я имел в виду

И в крови моих мыслей и писем
Завелась кошениль.
Этот пурпур червца от меня не зависим.
Нет, не я вам печаль причинил.

В ответ было: «Да, Борис Леонидович всегда грамотен в своих стихах.»

Тут во мне как бы сработал спусковой механизм... Я ничего не анализировал, ни секунды не колебался. Вскочил и закричал: Да ведь я же вас знаю!»

Но видимо, и для самого Мандельштама эта встреча явилась озарением и знаком и многое изменила в оставшейся жизни.

Когда я спал без облика и склада,
Я дружбой был, как выстрелом, разбужен.

Эти стихи посвящены Кузину, и строчки их, написанные в Москве, тянутся во двор Эриванской мечети, той самой, где сейчас стоим мы с Володей.

— Странно, — говорит Володя, — никогда здесь не был. Приятный двор, но какой-то заброшенный. Мечеть не действует, это ясно. Но, кажется, и музей не работает.

Дворик, действительно, захламлен и пылен, тени практически нет никакой, это в первый момент она мне почудилась, видимо, из-за спуска, как бы в подвал. Несколько полусохших деревьев, тех самых, возможно, карагачей растут — не растут, трудно сказать, но стоят вокруг бывшего бассейна. Всс, как будто, узнаваемо, но умозрительно, только по названиям. Вот здесь, говорю я Володе, плавали утки — и показываю на прямоугольную мусорную яму. А на месте вот этих лопат и досок, видимо, стояли столы с самоваром.

Мы обходим двор по периметру, идем вдоль длинных низких палат, составляющих ансамбль с главным строением, — и на всех дверях видим замки. Наконец, на той стороне отмечаем одну открытую дверь и кидаемся к ней, торопясь, словно опасаясь, что и она закроется. Маленькая квадратная комнатка с письменным столом, заваленным бумагами и папками. Бритый старик в серых, простых, пижамного типа штанах и такой же куртке сидит за столом и пишет. Он поднимает на нас глаза мудреца и учителя, здоровается и любезно предлагает

сесть. Да, он понимает, хотим посмотреть. Из Москвы? — тем более, очень досадно. К сожалению, всё закрыто, все экспонаты, и даже ключи теперь не у него. Хотя он почти единственный из оставшихся сотрудников. Впрочем, он думает, что и ему не долго осталось. Вчера приезжал инструктор горкома, сказал: «Не понимаю, что вы здесь делаете. Все прижете, пишете целыми днями. Разве это работа?» Но он не о себе, дело не в нем. Музей полгода уже закрыт, это называется «в новое помещение», но нового помещения нет и в проекте. И уже несколько лет, как здесь необходим срочный ремонт, бесценные экспонаты, которым сотни и сотни лет, в течение года приходят в негодность от сырости. Гниют ткани, истлевают золотые шитье. «А это, вы понимаете, невосстановимо! И это — главное наше богатство, большего у нас в Армении нет. Был такой русский философ Федоров, вы вряд ли его читали... Он говорил, что музей — не конец, а начало, начало истории всего народа, как целостной и неразрывной семьи, где совместно трудятся живые и мертвые. Я сидел здесь зимой, вот в этой комнате, было сыро и холодно, я болел, и я думал, что согласен выйти на улицу и там просидеть под дождем и ветром, пока не умру, чтобы только музей поместили в сухое и теплое место. Но никто мне такого не предложил.»

И вдруг я решаюсь:

— А знаете, в этом дворике...

— Кузин? — переспрашивает он. — Нет, не знаю. Ах, которому посвящено... Так, и что же? Зотов? Помню, конечно, помню. Энтомолог, кошениль, теория Гурвича. У Мандельштама о нем довольно много. Так значит, Борис Сергеевич Кузин. И в этом дворике. Нет, не сомневайтесь, другой мечети в Ереване нет. Чайхана, говорят, была, но я не застал, я до войны работал в Тбилиси. Очень, очень интересно, да. Жаль, что я не знал об этом прежде, я бы видел здесь все чуть-чуть по-иному. Ну, да теперь уже все равно... Да, верно, были карагачи. Здесь, знаете, росли еще столетние чинары, и они засохли на моих глазах, вдруг, сами собой, уж не знаю, отчего, быть может, просто кончилось их время...

Он грустно улыбается и трясет головой. Мы выражаем робкую надежду на лучшее, мы благодарим его и прощаемся.

5.

Вечером я рассказываю все это Олегу.

— Был, — говорю я, — такой поэт Мандельштам. — И на его недоверчивый взгляд: — Гениальный поэт! — И на его усмешку: — Самый большой поэт двадцатого века! Ну, неважно, поэт и все. Хороший. Он написал об Армении. Хорошо написал. У него был друг, интересный человек, он недавно умер... А? — я вздрагиваю. — Есенин? Ну что Есенин? Прекрасно отношусь, какой разговор. Между ними, если хочешь, было что-то общее. Быть может, органичность, предельная выраженность. Мандельштам это чувствовал, вероятно. Он лучше всех сказал о Есенине. «Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские синие ночи...»

— Это ты наизусть запомнил? — спрашивает Олег. — Ну и память. Завидую. Раньше я тоже так мог. Прочту разок стихотворение, и тут же почти без запинок. А теперь уже не то, старость, склероз. Образ жизни у нас дурацкий. Надо больше воздуха, больше фруктов, наша пища совершенно лишена витаминов...

Я снимаю со спинки стула полотенце, вешаю его себе на шею, беру со стола огромное яблоко и сую его в руки Олегу.

— На, — говорю я ему, — восполняй! — и иду принимать душ.

Вода в титане почти совершенно остыла, Цогик Хореновна грела его еще днем. Я прыгаю под прохладными редковатыми струйками, вяло смывающими с тела сухой мыльный рисунок, и даю себе слово никогда больше, ни разу в жизни... в который раз!

И звонит телефон.

Нашей хозяйки сегодня нет, она в гстях у детей. Видимо, Олег вспоминает об этом не сразу, он выходит из комнаты и снимает трубку только после трех-

четырёх безответных звонков. Но Олег еще только снимает трубку, а я уже и кран закрутил и уже полотенце набросил на спину, и стираю, сдираю с холодной кожи капли воды с остатками мыла. Потому что я точно знаю, что это — он.

— Кого? — переспрашивает этот болван. — Говорите громче, вас плохо слышно.

Я натягиваю трусы и выскакиваю.

Он протягивает мне трубку:

— Кажется, тебя.

Господи, кажется! А то я не знаю.

Сильный мужской голос и слышно отлично, но дело в том, что такого акцента, да что там акцента — такого нерусского языка я еще в Ереване не слышал. Я с трудом улавливаю корни слов, выкусываю лишние приставки и суффиксы, выгибаю окончания в нужную сторону — и странно, испытываю от этого радость, как бы радость сотворчества. Я стою в трусах, опираясь локтем о стену, я рассматриваю собственные мокрые следы на полу, я размеренно и ровно отвечаю в трубку, весь напрягаясь для этой ровности, так что дрожь моего еще влажного тела пулеметной очередью прорывается в паузы.

— Да, — говорю я, — конечно, я понимаю. Я вполне понимаю, вы очень заняты. Я бы не хотел растрачивать ваше время.

И тут же начинаю дрожать с такой амплитудой, что кажется, больше ни слова не вымолвлю. Но подходит сзади Олег — золотой человек! — и набрасывает мне одеяло на плечи.

— Нет, — говорю я, — конечно, свободен. Я только.. В общем, буду готов через десять минут.

А он говорит мне что-то еще, и я чувствую, как начинаю привыкать к его речи, как уже воспринимаю ее непосредственно, без промежуточного перевода. И только теперь, отчасти задним числом, ощущаю, как эта речь иронична, остра и легка. Легка! — поверх и в обход неуклюжей тяжести чужих оборотов.

Он говорит примерно следующее:

— Мы с вами живем почти на одной улице, ваша улица — продолжение моей, или, если быть армянным и хозяином, моя — продолжение вашей. Давайте мы выйдем одновременно через десять минут и пойдем друг другу навстречу, как в школьной задаче. Я буду весь в черном, стройный, как девушка. А вы? Ах, я тоже лысый, но это секрет. Лысый и с бородой? Прекрасная характеристика. Ну что ж, договорились, до встречи.

Я одеваюсь, киваю Олегу («Понятно, — он улыбается, — ну-ну, давай...»), хватаю со столика перед зеркалом заждавшуюся стопку книг и журналов и выстреливаю вниз, в подъезд, в духоту, черноту, южногу ереванской ночи.

Окончание следует



Норайр Багдасарян

Стихи

СЕЛО В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Пахари с поля бредут на закат,
Птицы летать устают поневоле,
Косы стальные по небу скользят,
Блеск их обходит широкое поле.

Словно собака, ночной холодок
Тянется следом в низине тумана,
И тишина, в этот час столь желанна,
Трется, стираясь о старый брусок.

Сон до утра всех сморил не шутя,
Будто тяжелая обувь, усталость
Так за дверьми ночевать и осталась,
И просыпается, словно дитя.

◆
Дед на камень присел возле двери,
Тень прохлады пришла и ушла.
И хотя он морозу не верил,
Запах снега ловила душа.

Погрузился он в зимнюю дрему,
Превратился на камне он в снег.
Бабка вынесла шубу из дому,
Снег на камне накрыла навек.

РУКОЮ МЛАДЕНЦА

Сыну Месропу

Несет скале стакан воды
Дитя в полдневный зной —
И на устах ее цветы
Горят голубизной.

Стакан воды в руке своей
Он голубю несет —
И стаи шумных голубей
взмывают в небосвод.

В вечерний час стакан воды
Несет звезде малыш —
И небеса его звезды
Спускаются до крыш.

Стакан простой воды несет
На берег далеко —
И море из стакана льет,
И ластится легко.

ДЕВУШКА УХОДИТ...

В этом мире скатертью дорога
и заря внезапна и светла,
девушка уходит от порога,
материнских слез полна в косынке
и колючих прописей отца...
Осьмнадцатилетние заборы,
скрученные травы мимо, мимо.
Девушка уходит по бревну,
А под ним ручей всего лишь в палец.
Гуси с шумом складывают крылья,
указуя клювами ей путь.
Девушка уходит без оглядки,
оставляя детство на подушке,
а в подушке перья бьют крылами
и за нею каждый день летят...

Перевел Юрий Кузнецов

ОСЕННИЙ ПОРТРЕТ

Снова один я... Лишь ранняя осень
Валится наземь, как раненый зверь.
Тихая речка скользит между сосен.
К морю стремится она и теперь...

Наша тропинка забыта, забыта,
Нашей аллеи забвенен уют!
В чашу забиться, туда, где открыто
Ветки тоскуют и листья текут!..

В небо взгляну, и слезою усталой
Ты наконец-то сорвешься с ресниц.
Почки набухнут, и песенкой талой
Встретит округа вернувшихся птиц...

Перевела Зинаида Палванова

Елена Алексанян

ИЩУ ДОМ

Есть у известного польского писателя рассказ с таким, казалось бы, очень конкретным названием. Однако с первых же строк, даже еще не по смыслу, а через напряженный стилевой, ритмический контрапункт с драматически надрывным, связью кажущееся спокойствие фразы, рефреном («ищу тихий дом в тихом саду») обнаруживается смятение души героя, который, разумеется, не просто подыскивает себе дом в деревне, откуда он родом, а ищет новую жизненную, духовную опору. Это интеллигент, лишившийся корней, устойчивой, питающей личность нравственной основы, и под конец жизни решивший вернуться к целостным истокам прошлого. Пресловутые поиски основ буквально потрясали все заново строящееся после иных, еще более существенных потрясений здание нашей отечественной литературы в 50-е годы, да и значительно позже. По своему национально преломляясь, они были безусловно универсальны в главных своих устремлениях и дали прекрасные плоды в каждой национальной литературе, о чем неоднократно писалось и пишется по сию пору, с упоминанием имен В. Распутина, В. Астафьева, В. Белова, Ч. Айтматова, Н. Думбадзе, Г. Матевосяна и других писателей.

Возвращаясь к вышеупомянутому рассказу, нетрудно представить, как разнообразны и поучительны были эти поиски, отталкивающиеся прежде всего от жизненных ситуаций, диктуемых особенностями данного отрезка своего национального бытия и народного миропонимания. Герой Юлиана Кавальца абсолютно искренен, мечтая о «тихом доме в тихом саду», желая вернуться из города, где обезличенно и суетно он прожил всю сознательную жизнь, в свою родную

деревню, на природу, к близким его сердцу родным и односельчанам. Он жаждет обновления, ищет сочувствия и понимания, но находит лишь недоумение и недоверие. Уходящий от поверхностных традиционных решений польский художник акцентирует не столько даже недоумение деревни, но и вполне открытое неодобрение к самому факту возвращения «блудного сына».

Да, вместо аплодисментов подозрительность и осуждение, — такова правда жизни, переплавленная в правду искусства. Крестьяне, о которых идет речь, не только не верят в искренность и глубину духовного перелома своего бывшего односельчанина (и здесь они абсолютно правы, т. к. порыв оказался недолговременным), но и считают ностальгию по «малой родине» блажью, прихотью человека, избалованного городской жизнью и дарами цивилизации и теперь приехавшего как бы подразнить их (они и сами рады бы отряхнуть со своих лаптей грязь и заскорузлость деревенского быта). Да, это уже не те деревенские «страстотерпицы», которые подобно распутинским «старинным» старухам вспоминают свое тяжелое крестьянское житье, как честно понятый долг избывания своей судьбы. Авторское поэтическое видение этого житья размывается тонкой, но явно различимой иронией. Прощание с Матерой уже состоялось, «лечение прошлым» перестало быть панацеей от всех зол.

Персонажи польского писателя это не труженики типа Михаила Пряслина Ф. Абрамова или Ростом Г. Матевосяна, взваливших на свои мужицкие плечи тяготы крестьянской жизни, бремя ответственности за дальнейшее проживание своего народа на исконной земле. Речь

идет о болевом нерве этой темы — о социальном и духовном перепутье, которое впервые было четко зафиксировано В. Шукшиным, а в армянской литературе Г. Матевосяном. «Одна нога в лодке, другая — на суше», — в свое время писал об этом состоянии крестьянина В. Шукшин. Тревожные симптомы в микрокосмосе своей «пастушьей республики» обнаружил и Г. Матевосян. С годами драматизм ситуации, пожалуй, еще более обострился, ибо в застойной обстановке 70-х не могли решаться накопившиеся проблемы села, которое катастрофически теряло своих жителей, и соответственно «буксовали» и художественные проблемы, связанные с концепцией личности, ее нравственными основами в целом. Национальная специфика этих неостановимых процессов, оттона деревенских жителей в город не меняла их общечеловеческой драматичнейшей сути, и армянская проза в частности чутко реагировала на них, прозревая размыв общезначимых ценностей, нравственные вакуум и деформации. Достаточно вспомнить героев Матевосяна, и прежде всего его Хозяина, учителя Камсаряна, оставшегося единственным жителем села Лернасар, у В. Петросяна и т. д.

В армянской литературе с ее тенденцией к романтическому максимализму давно уже появился целый ряд «белых ворон» дон-кихотовского типа, фанатично исповедующих идеал. И если Матевосяну в «Хозяине» удалось избежать дидактической назидательности подобного образа, благодаря умению придать неповторимый колорит и жизненность своему избраннику (и здесь не последнюю роль сыграла стиливая тональность, вобравшая и элемент иронии и самоиронии героя), подобные герои, к примеру, В. Петросяна и В. Григоряна («Одинокая орешина» и «Белая ворона») к сожалению остались в рамках добротной, но схематичной, ибо художественные издержки таились в их индивидуальном подходе к интерпретации и воплощению так называемого «идеального» героя. Проблема «нравственной нормы», оставаясь безусловно актуальной, должна решаться в каждую эпоху по-новому, исходя из постоянно меняющихся соотношений в динамическом равновесии двуединства человек-общество.

Итак, что ищет, к каким нравственным опорам взывает ныне герой армянской прозы и в каком микроклимате, в

какой атмосфере ему приходится существовать, о какие берега бьется смятенное сознание современного человека? Наше время, если попытаться охарактеризовать его единым ключевым словом-понятием, очевидно, может быть названо временем **очищения**: так назрела эта внутренняя потребность в духовном обновлении и одновременно пристальном взгляде в прошлое, давшее в общем сложении и бездуховные всходы. Поэтому предельная честность и бескомпромиссность (а иначе как очиститься?), к своему духовному багажу, личностному потенциалу, микрозрению, повернутое в себя, в зеркало своей души, в свое духовное лоно должны неминуемо корректироваться, более того, определяться «глазами» своего времени, ведь недаром сказано, что «у каждой эпохи свои глаза».

Уже в 60-е годы, когда стало ясно, что писать по-старому более невозможно, в армянской литературе, как и во всесоюзном литературном процессе наметился принципиально важный отход от описательного изображения событий к человеку к аналитическому исследованию личности, ибо авторитарный подход не оправдал себя, не был достигнут органический синтез в изображении личности и сферы ее социального бытия. Были сделаны первые попытки центристского повествования, изображения жизни, пропущенной через субъективное сознание. Разумеется, не всегда личность, взявшая на себя «груз эпохи», могла его трансполлировать достаточно внятно и глубоко, — и это были издержки не всегда верно понятого субъективного принципа повествования. Однако в творчестве лучших прозаиков такой подход оказался плодотворен. Так, на примере творчества Гранта Матевосяна отчетливо видно, как постепенно менялся ракурс и принцип изображения — от слегка отстраненного, сказово-повествовательного к напряженному полифоническому монологу, полилогу (в повести «Мать едет женить сына», в «Хозяине», «Ташкенте»).

Повесть «Год, год, год...» З. Халафяна потому и стала значимой вехой в армянской прозе не только той поры, что знаменовала собой качественно новый период в художественном освоении действительности, появление исповедальной прозы или как ее тогда называли романом испытаний. Вся жизнь сельского

врача Есааяна проходила перед читателем в исповедальном монологе самого героя через ретроспекцию воспоминания. И сделано это было не нарочито, рамки кругозора одной личности не суживали, не ограничивали общий кругозор повествования, ибо избрана была личность духовно богатая, как бы адекватная эпохе, в нравственных поисках, трагических изломах жизни которой отразились сдвиги, кардинально важные особенности времени, исторической жизни народа. Такой личностный подход к выражению этого времени был обусловлен тогда начавшимся процессом общественного очищения (после XX съезда), повышением ответственности личности, ощутившей возможность свободного и нелицеприятного разговора с эпохой. И, скажем, вошедшему в литературу чуть позже Р. Овсепяну не пришлось «переусложняться»: его «Вордан кармир» был написан в лучших традициях нового направления.

Дали ли 70-е годы столь же принципиально важный художественный итог? Думается, это был период закрепления глубинной вспышки, перехода к эпически значительным полотнам, где в лучших вещах был достигнут масштабный синтез характеров и идей эпохи (И. Авижюс, Ю. Бондарев, Ч. Айтматов, О. Чилладзе, Х. Даштенц). Однако духовные шлюзы были открыты не до конца, эпоха, которая стала называться застойной, не получила своего художественного знака соответствующего уровня, но утраты завоеванных позиций в целом не произошло. Более того, армянская проза получила подтверждение правильности своего пути, своего возмужания и необходимую раскованность художественного сознания. Тому пример прежде всего «Зов пахаря» Хачика Даштенца и сага о былом М. Галшояна («Облака горы Марута»), по-новому осмысливших самые болевые точки исторического бытия нации, трагическую судьбу своего народа. То же произошло и в украинской, и в грузинской, и в литовской, и в киргизской литературе, — и это закономерно. Человек на равных выходил на авансцену народной истории, но поступательное это движение, не получив «духовного обеспечения» в общественной атмосфере жизни, не могло иметь столь же достойного продолжения. И причина была в том, что взгляд в прошлое, поиски в нем опор для современной личности не уравновешивались столь же плодотворными

открытиями духовных перспектив в сознании современного человека. Вернее, эти открытия ограничивались сферой поисков героя — как бы единичного феномена добра, своего рода Дон Кихота, стоическим одиночеством словно еще более подчеркивающего свою уникальность и неприспособленность в мире, где превалируют и даже подчас торжествуют отрицательные альтернативы тем, что утверждались идеальным героем.

Вместе с тем все было не так просто, как может показаться на первый взгляд. Слабый человек, понимающий свою правоту, но оказавшийся в одиночестве, обязан быть исполином, непременно выстоять. «Происходит, — как писал об этом явлении русский писатель Руслан Киреев, — своего рода поляризация совести. Одни сбрасывают с себя хлопотное бремя (а совесть — бремя хлопотное), налегке шагают, другие вваливают его на себя. Добровольно. Кому-то же надо нести сию ношу...» И здесь чрезвычайно важно, как происходит эта поляризация. В повести В. Григоряна, к примеру, нет ярко выраженной конфронтации идей. Учитель Мнацаканян выглядит в школе и в жизни «белой вороной», поскольку более глубоко и полноценно, чем другие, представляет себе долг воспитателя молодежи. Однако он пассивен и несколько даже жалок в своей правоте и скоро уже не останется школьником, из которых его не выжили бы более практичные и соблюдающие учебный план коллеги, хотя остается неясным, в чем, собственно, конфликт, чем особенно при такой пассивной позиции герой им досаждал или мешал?

В «Хозяине» Матевосяна иное. Поляризация совести здесь происходит таким образом, что на одном полюсе оказывается Ростом со своими идеалами, своим честным и благородным пониманием добра, справедливости, своего долга человека и жителя Цмакута, активно противостоящего односельчанам. На другом — бывшие цмакутцы, которые приспособились к новому существованию, несколько не скорбя о развале некогда процветающего хозяйства и ладной коллективной жизни, а над Хозяином откровенно издеваются, считая его поступки и убеждения досадным анахронизмом. Копнув глубже, Матевосян обнаруживает новое состояние человеческой общности, не имеющей ничего общего с народной, а являющей собой духовную

спячку и равнодушие людей, утративших личность и ставших аморфным «мы». Сквозь внешнюю канву событий и конфликтную ситуацию, в которой Хозяин и народ оказываются как бы на двух разных полюсах, явственно просматривается подлинная расстановка сил, где именно лесник Ростом выражает народное миропонимание, живую душу народа, а не земляки его, утратившие любовь к земле, а следовательно, неминуемо и духовные ценности. Не случайно достаточно прозрачно высвечивается символическая преемственность Хозяина от его народно-исторических истоков (оп и внешностью, и своей величавой статью всадника напоминает таких героев, как Андрианик). Все это убедительно, но и щемяще тяжело, ибо отчетливо заметен упомянутый дон-кихотизм личности героев на фоне поистине катастрофического непонимания людей.

Некоторые русские критики весьма аргументированно пишут о духовном кризисе личности, который в несколько даже публицистическом ключе фиксируется (так торопятся прокричать об этом писатели) в «Печальном детективе» Астафьева, «Пожаре» Распутина, «Плахе» Айтматова. Последняя, как об этом пишет Е. Сидоров, «своеобразием отражает кризис современного гуманистического сознания, которое не в силах примириться с существующим и в то же время не видит иного выхода, кроме как обращения к опорным народным нравственным ценностям. Но ведь и они на наших глазах стремительно покидают народ, переставая быть опорой». Действительно, уже сам факт обращения к «идеи Христа» и у Айтматова, и у Тендрякова, последовательное проведение экзистенциального эксперимента в военной прозе В. Быкова говорят как о возрастающей актуальности, так и усугубившейся сложности нахождения новых нравственных опор личности. Усугубившейся и вследствие сурового диктата ядерного века, поставившего на карту сегодняшнего дня реальную проблему выживания человечества, и в результате экологического кризиса.

Но дает ли это писателям основания для пессимизма? Разумеется, нет. Об этом свидетельствуют и экскурсы в национальную историю и испытание личности на нравственную прочность, дающие огромный заряд оптимизма и понимания жизнестойкости современного че-

ловека, своего рода «обреченности» человека на правду, как бы ни было трудно за нее бороться. В особенности, когда человек осознает себя личностью, ответственной за деяния своего народа.

Здесь важны и шаги, которые принимает литература, ощутившая, как писал Д. Гранин, потребность в «очеловечивании бытия». Разумеется, на путях экзистенциального испытания личности, исторического или конкретно-современного, у художников не должно быть повторения когда-то найденных решений, обращения к исчерпавшим себя художественным обретениям, уже не сулящим новых открытий. Чем сложнее задачи, стоящие перед современным человечеством, тем сложнее и пути художественных поисков, и ключ к их перспективности лежит, на наш взгляд, в рецепте, старом, как мир — изучении, scrupulezном, внимательном исследовании человека в его современных общественных связях, отходе от трафарета в этом исследовании, который подчас не только подменяет конкретно-историческую суть явлений, но и просто мешает видеть новое, может быть, пока недостаточно заметное невооруженному глазу читателя, но подвластное микрозрению писателя. Прозревая духовные тупики, нужно помнить, для чего мы их прозреваем, находить пути их преодоления в самом климате эпохи, в резервах личности, которая тысячами незримых нитей связана со своим народом и обителью всего человечества.

Но вернемся к заданной в начале статьи символической теме Дома, понимаемого и экзистенциально, и конкретно-исторически, и для армянского национального сознания означającego чрезвычайно много, вместе с тем помогающего разобраться в новых подходах к ее решению. Трагически складывающаяся веками история армянского народа всегда была связана с потерей родного крова, ситальчеством, нестремимым стремлением наперекор злосчастной судьбе восстановить свой дом, очаг, заново построить свой дом, свить гнездо на пепелище. Настойчивой доминантой эта тема-проблема проходит через все творчество Мушега Галшояна, начиная с «Горнила» и «Дзори Миро», кончая уже упомянутым циклом рассказов «Облака горы Марута», где идея Дома, родного очага действительно превращается в одержимость идеей родины, в носталь-

гью по отчому крову, в устойчивую нравственную опору и символ надежды.

Цельность народного характера у современных писателей обуславливается нерасторжимостью связи с родной землей, пониманием своего места и долга в общей атмосфере надежности и нерушимости привычных ценностных ориентиров и обретения новых. Когда задача сохранения устойчивого нравственного равновесия усложняется, а это неизбежно происходит в современном состоянии мира жизни и мира личности, идея Дома теряет непосредственность и простоту своего художественного избытия, возникает множество интересных и сложных интерпретаций с упором на личностное выражение драматических коллизий. Даже в творчестве одного писателя, более того, в одном произведении того же писателя можно заметить эти «от» и «до». Так, в повести «Вордан Кармир» Р. Овсепяна представителем старшего поколения рода Левону Симоняну для своего нравственного самоосуществления необходимо преодолеть лишь внешние препятствия, связанные с хаосом перевернутого революцией мира, сам же Левон остается неизменным, духовно цельным. Его сыну Аршаку для того, чтобы стать достойным представителем рода и выполнить свое предназначение в жизни, приходится пройти через испытания иного порядка, преодолеть многое в себе или заново найти самого себя, самое сокровенное, человеческое и надежное в себе, а в рассказе того же Овсепяна «Апрель» идея Дома становится своего рода лапмусовой бумажкой, испытанием совести героя в самом точном смысле.

Герой рассказа решил продать свой дом в деревне и переехать в город. Он уже договорился с покупателем, не считаясь с несогласием близких, осуждением односельчан и соседей. Хотя дом его собственность, поступок его сродни воровству, даже преступлению против деревенского сообщества — так ненавистливо, но четко расставляет психологические акценты автор. Кульминация этого маленького рассказа наступает скоро, когда возмущенный сосед, вынужденный напомнить герою, что строился его дом всем миром, начинает палить из ружья, на смерть перепугав незадачливого городского покупателя. Драматизм ситуации (разумеется, не столько конкретной, сколько общей, социальной), настолько велик, что выстрел оправдан, «ружье

должно было выстрелить». Тревогу надо бить всем миром, иначе происходит не просто уход крестьянина из деревни в город, а уход от самого себя, от своего внутреннего «я», потеря духовного равновесия, нравственной цельности личности, обнаруживающая один из главных духовных тупиков нашего времени. И как бы много об этом ни писалось, тема эта остается остро современной, т. к. характеризует постоянно действующий процесс, болевые точки которого чутко фиксирует армянская литература. Повторяем, по существу она обращена не столько к традиции, сколько к познанию современным человеком самого себя, поискам своего места в жизни.

Нам уже неоднократно приходилось писать о том, как этот процесс художественно отозвался в прозе Г. Матевосяна, которому принадлежат принципиальные открытия в национальном характере. К чести других прозаиков, обращавшихся к этой теме, заметим, что никто из писателей среднего поколения — ни З. Халафян, ни В. Петросян, ни Р. Овсепян, ни М. Мнацаканян, или из молодых (А. Гагриян, В. Сирадегян) не повторяет уже сделанного, стремится по-своему поставить художественную проблему, исходя из своих литературных пристрастий и особенностей художественной индивидуальности.

Достаточно обратиться, например, к исследованию предложенной проблемы А. Гагрияном, к его рассказу «Судьба» или В. Сирадегяна «Очаг погас», как станет очевидным, сколь оригинально может быть ее творческое осмысление. Григор Дарбинян в рассказе Гагрияна приезжает в родное село продавать отчий дом. Внешне все благопристойно, и правда на его стороне, ибо отсутствовал он долгие годы «по причине занятости армейской службой». Да и бывшая жена Сатик, представляющая противную сторону, не вызывает симпатий своей воинствующей агрессивностью, тяжелым, трудным характером. Но постепенно, в ходе живого диалога, открывающего часто непримечательные изломы человеческих судеб, тяготы деревенских будней, даже нынешней, русской, жене Дарбиняна становится ясно, что у мужа ее нет никаких моральных прав на дом, где протекала не его, Дарбиняна, а многотрудная жизнь его бывшей жены Сатик. Мелочность, бесхарактерность Дарбиняна, качества его душевного склада, его равнодушие к

родному сыну, людям, — все это свидетельствует против его права на родной очаг, как продолжателя рода деревенских тружеников. Он здесь чужак. В рассказе наблюдается встречное движение в осмыслении двуединства — человек и его Дом на земле. Герой отказался в свое время от «малой родины» и потому не достоин права на отчий кров и свое место в цепочке поколений.

Тема по-своему усложняется в рассказе другого молодого прозаика Ваню Сирадегяна «Очаг погас», где деревенский дом вырастает в своеобразный символ, трагический знак покинутости, невосполнимости потери, где гибель отчего крова и его хозяйки оказываются по-человечески одинаково драматичными. В. Сирадегян — художник очень чуткий к деталям, обладающий подлинным микровзрением психолога. В этом рассказе, исходя из художественной задачи, он достигает мастерской выписанности всех аксессуаров избранной ситуации — похорон старой матери большого, переселившегося в город деревенского клана. Эта скрупулезная дотошность описания необходима писателю, чтобы все, что происходит в деревенском доме, даже, на первый взгляд, будничное, было по живому нерву, вызвало сопереживание. Здесь, видимо, жили в достатке, чтли старших и обычаи предков, старая женщина-труженица родила и вырастила трех сыновей, двух дочерей, еще и двенадцать внуков, ухаживала за мужем-инвалидом, и все это делалось так, как следует, по-человечески, как заведено в старости в армянском святом очаге. Покойницу собираются хоронить как положено, не отступая ни на шаг от обычаев; почью возле нее бодрствуют сыновья, маминку ей готовят там, где она завещала, на солнечном склоне, роют ее старейшины деревни, после похорон устраиваются пышные поминки, накрывается щедрый стол, как водится, и на седьмой день. И сразу же после этого отработанного веками ритуала начинается, как пишет Сирадегян, «умерщвление дома». Да, именно умерщвление его души, такой же живой, какой была душа самой труженицы-матери, т. е. происходит нечто противоестественное, противоречащее извечно установленному, нравственному ходу вещей. Как говорил один из героев Матевосяна, со смертью стариков перестает звучать и голос их совести, развязывая руки молодым.

По ходу рассказа описание становится еще более скрупулезным и деловитым. Мы узнаем, как методично и рачительно сыновья и прочие родственники продают козу и козленка, распределяют между собой, чтоб ничего не пропало, картофель и фасоль и, наконец, режут кур. Это, пожалуй, самая впечатляющая сцена, подготавливающая символический финал. В спешке младший сын, на которого возлагается эта неприятная миссия, не успевает перерезать курам жилы на ногах, и они носятся в конвульсиях по двору с перерезанным горлом, кровь льется ручьем... Но и здесь восстанавливается утраченный было, омертвляющий порядок: кур ощипывают и делят между собой, опускают в доме занавески, тщательно засыпают вещи нафталином, чтоб их не съела моль, запирают все запоры. И когда все рассказывается по машинам, в доме что-то с грохотом падает. Нет, это не фотография матери, как предполагают всполошившиеся наследники, не что-то определенно вещественное. Звук этот воспринимается как нечто символически значимое, олицетворяющее живую душу покинутого деревенского дома, как оговзавшийся болью в сердце многих поколений читателей стон лопнувшей чеховской струны, в свое время так красноречиво возмещивший о гибели «вишневого сада».

Как и Гагриян, Сирадегян заявил о себе своеобразным художническим почерком, новым видением жизненных явлений. Сирадегян представил нам нового героя, не просто так называемого «маленького человека» со своими заботами и сложностями, но в свете интересующей нас проблемы — современную личность, лишенную цельности, ищущую новые нравственные опоры. Отсутствие возысканного автором нравственного равновесия у Сирадегяна по-своему восходит к необратимому процессу расшатывания былых этических основ, к болезненному ощущению личностного раздвоения, утраты органичных связей с «малой родиной», с родными по крови людьми. Герой этот пристал к новому берегу, но духовные потери очевидны, выражаются ли они в творческой атрофии, в ощущении чувства вины перед семьей, в замкнутом одиночестве, отчуждении и рефлексии, своего рода вялости души.

«Игра устарела, — пишет Сирадегян. — Волшебное зеркало треснуло в полночь, его части разошлись, пепельница

превратилась в сосуд для мусора, спички по одной погасли в спичечном коробке, сигаретный дым поднялся к облакам, надежда на цельность растаяла. Чуда не будет. Стена лет непроницаема, ослепляет свет, идущий от детства, путь воспоминаний полон испытаний, забот пританцовавших в засаде лет, потерь, любви и боли... И только память... приносит и уносит ключья аромата и вспыхивают смутные видения, но ни один аромат не соответствует цвету, но ни один звук не вписывается в пейзаж, и немеет легни́й день, и тщетны усилия сделать мудрый шаг, потому что в одной половине нет равновесия...» Мы привели довольно большой отрывок из рассказа «Засушливый июль», потому что в этом внутреннем монологе героя-рассказчика переданы горечь и тревога перед осязаемым фактом потери цельности, шаткость и вместе с тем живучесть тех нравственных корней, которые унаследованы, еще живут в памяти, в чем-то определяя поведение и мировидение человека, но уже не могут полноценно питать духовный организм нового поколения, уходящего в иное пространственно-временное измерение.

Отсюда и постоянные метания героя в городе, чувство своей неполноценности, ущербности, непринужденности. Вспомним рассказ Сирадегяна «Там видно будет...», где герой — незадачливый редактор студенческой газеты, сидя в приемной проректора, мысленно переживает все невзгоды и печали своей городской жизни, с горечью осознавая, что в своей «мужской отчизне» он мог бы быть счастлив. Теперь же неудачи вчерашнего дня уже не отряхнутся с сегодняшнего и так выстраиваются их унылая череда, подобно будничному отупляющему ярму, так надоедливы каждодневные обязанности, что даже незначительный выигрыш в «спринте» или разговор с матерью по телефону испуганному, приниженному сознанию кажутся неправдоподобно большой удачей. И все — даже удача, даже сон усугубляет состояние ущербности (герою снится, что он роет себе могилу, но даже это ему не удается: не хватает места), и девизом жизни оказывается: «Боже, не сочти, что слишком!» или «там видно будет...» Герою хочется стряхнуть с себя одуряющую безнадежность обыденщины. Он мечтает об иной, яркой жизни, и на какое-то мгновение в финале ему удается

почувствовать вкус дождя, ощутить мужскую солидарность, поверить в будущее, ведь он еще молод, изнуряющая будничность обязанностей на работе и дома еще не полностью отрешили его от радостей бытия... И все же лишь в рассказах, обращенных, будто опрокинутых в лоно деревенской жизни (будь то веселое застолье или воспоминание о детском слиянии с природой, ощущение своей слитности со всем живым («Лунный свет»), чувствуются целительные токи, оздоравливающее начало, осознание героем-рассказчиком полнокровности и гармонии своего существования. Но делается это ненавязчиво, ибо такова поэтика, творческий почерк этого писателя, да и основная тема-проблема у него иная, связанная с новым бытием личности, отпочковавшейся от деревенского лона.

Кто-то из критиков писал недавно о наблюдаемом в литературе «озарении героя совестью», нравственном движении личности, которое заставляет по-новому увидеть и осмыслить происходящее. В прозе В. Быкова, например, это чаще «звездный час» героя, вспышка нравственного сознания, проявляющаяся в пограничной ситуации. У Матевосяна — это постоянное внутреннее состояние его любимых героев, своего рода горение духа, разумеется, не окрашивающее их в сусальные тона «голубых» персонажей, но особое состояние, сообщающее герою беспокойство, формирующее вокруг него особое поле напряжения. Это помогает герою интуитивно прозревать, что что-то случилось с «вековой обителью людской»: то ли развалилась, то ли пошла ко дну, а может, «перестроилась» и нужно прорубать «новую просеку» к Дому современного человека. Созданная писателем модель действительности передает во всей полноте тревожное состояние мира, трагическое напряжение личности, то подобно глухим подземным толчкам, то громко взывая к нашей совести, доносит сложности и драмы мира на пороге XXI столетия, смятение писателя перед непрозрачным пока до конца новым духовным синтезом личности и общества.

Напряженная, постоянная работа мысли в последних вещах Г. Матевосяна выявляет подспудные процессы накопления нового качества в подходах к действительности. Поэтому как нельзя более уместен прием полифонии при испытании характеров, когда индивидуальные

сознания, их бунт против собственной судьбы соотносятся между собой в сложном сплетении разных судеб, сопрягаются в тревожной, разноголосой общности индивидуальных и коллективных (хотя и часто разнонаправленных) усилий постичь новые соотношения мира и человека, мира и природы, личности и общества. Да, некогда земля была в цвету и люди не были столь меркантильны, суммируя отдельные речевые потоки, как бы размышляет читатель Матевосяна, но люди стали рваться в город и бывшая общность распалась. Выполнять роль тягловой силы Цмакута, в то время, как другие крадут лес и уходят на заработки, тяжело и обидно. Но энергия характеров, которые предстают перед читателем (будь то Агун или Шушан, Ростом или Тэван-Красавчик), само движение жизни свидетельствуют о том, что духовные тупики «чреватые» и выходами из них, творческая потенция жизни упирается все более в вопрос — «Что дальше с нами будет?». Но будут и ответы и новые вопросы, потому что жизнь продолжается и углубляется ее художественное исследование.

Проза Матевосяна, неся на себе знак своей особенности, сообщает проблемам устойчивости человеческих связей, преданности своему Дому и Земле ту конкретность и одновременно онтологичность, тип взаимодействия которых весьма примечательно корреспондируется с художественным поиском Агаси Айвазяна. И Матевосян, и Айвазян в своем творчестве безусловно философичны, не вызывает сомнения и тяготение обоих к сказу и притче. Однако, если параболочность и притчевость у Матевосяна достигается более через стиль, являясь как бы следствием художественной многозначности и символической обобщенности повествования, то Айвазян открыто, даже демонстративно условен, часто избирая притчу, как сюжетную модель, конструирующую жанровую определенность своей прозы. Одержимый поиск «души человека в современном мире», глубинной сути его подлинного, беспримесного «я», которое скрыто под коростой негативных наслоений нашего цивилизованного века ведется открыто от человека к человеку, и упомянутое нами «озарение совестью» происходит с героем Айвазяна так щемяще проникновенно и по-человечески просто, что на мгновение создается обманчивая иллю-

зия: еще немного и люди, как герой рассказа «Шепот» или «Музыкальный звонок в доме старого интеллигента» поймут, что надо жить по правде и честно, что надо непременно достучаться до души друг друга, ибо все люди связаны единой жизнью и ответственностью за нее. Боль одного непременно отзовется в сердце соседа или где-то далеко к океану — таковы законы «всемирной отзывчивости» и человеческого существования.

Но потому и так трогательно незащищены любимые герои Айвазяна, так грустно в его мире человеку, что чудо озарения, понимания человечеством всеобщей связи людей пока удел притчи или сказки. Но даже в сказке (так назван, например, один из его рассказов о появлении в маленьком городке голых людей) удивительно красивые душой и телом люди, которые считают ненужным прикрывать природную красоту традиционной одеждой, обречены уже самим своим непривычным жизненным статусом, непохожестью на других. Они погибают от пули, их забрасывают камнями те, кто надежно, как броней, защищены от жизни фарисейством, ложью, словом, привычным внешним антуражем.

Аллегория легко прочитывается, но Айвазян прибегает к ней нечасто, выходя напрямую к мироощущению своих героев, которые самим своим существованием становятся живым укором мелочности, корысти, душевной глухоте и стереотипу мышления существователей. Мир Айвазяна условен, но условность эта особого рода, — все зависит от взгляда на привычные явления и внутренней убежденности в своей правоте.

Нам уже приходилось писать о близости героя Айвазяна к «чудикам» В. Шужина, который, однако, меньше тяготел к притче. Но именно такие герои (их притчевый характер снимает вопрос о правдоподобии) могут преобразить мир, дотронуться до нерва души другого, интуитивно постичь человеческую общность и, главное, если не отстаивать добро, то напомнить, что нет ничего выше его законов. Идея Добра и человеческой солидарности у Айвазяна, какой бы она на первый взгляд ни показалась абстрактно-созерцательной, адресована современному человеку, нацелена на самые актуальные ценностные ориентиры, пробуждая в собственной душе чувство необходимости для других людей, понима-

ние того, что в каждом человеке есть ростки человечности, внутренней правды и если не растоптать их, а вырастить, это будет еще одна победа человеческого в человеке.

Замкнутый в себе и вместе с тем разомкнутый на уровне связи человека и человечества мир Айвазяна предлагает и свое понимание сложности выхода из духовных тупиков. Да, нетрудно понять, как необходимо человеку ощущение живой связи с другими людьми, взаимопонимание на основе Добра и Справедливости, труднее осознать зыбкость и иллюзорность, неустойчивость видимых связей. Айвазян иногда намерено подчеркивает кажущуюся легкость прорыва к человечности в своем притчевом мире и по контрасту необычайную трудность этого прорыва в жизни: решение будто близко, его легко ухватить, но стоит показаться, что ответ, выход рядом, как он становится неуловимым. Отсюда и красноречивая символика в художественном решении тьмы Дома у Айвазяна, драматично оборачивающаяся одиночеством человека среди людей.

В рассказе «Четыре стены» герой-рассказчик, находясь в собственной комнате, оказывается вдруг на улице, потому что внезапно рухнули стены, и сквозь его комнату идет трамвай, шагают люди, не замечая хозяина. При поверхностном чтении может показаться, что происходит избавление героя от одиночества, замкнутого пространства его жилища, слияние героя с другими людьми, ведь стены рухнули, перечеркнув его отъединенность, изолированность от остального мира. Но в том-то и трагизм жизни человека в современном мире, что видимая связь, кажущееся отсутствие замкнутости может обернуться и оборачивается одиночеством, ведь «человек иногда держится на расстоянии даже от самого себя». Такова сложная простота мира Айвазяна, который как и все большие художники, не предлагает расхожих рецептов спасения человечества, а бьет тревогу, взывая к самым сокровенным токам жизни и сердца своего современника. И вспоминается мучительное раздумье Ю. Трифонова в конце жизни об «идее всеобщей связи людей».

Мы уже говорили о том, что у Айвазяна редко встречаются конкретные приметы времени, а когда они есть, перед нами встает старый Тифлис, отделенный от нас десятилетиями. Однако и худож-

ник Ваню, и бедная одинокая Кеже, и пресловутый Киракос, который, по утверждению кума Вардана, живет в каждом человеке (рассказ «Киракос»), и другие герои Айвазяна сродни современному человеку, благодаря обращенности к ключевой сути человеческих проблем и умению писателя придать жизненным ситуациям и конкретно-ослабемый, и предельно обобщенный характер. Когда же примет времени нет в обычном, традиционном повествовании, и акцентируются вневременные, «вечные» категории человеческого существования, возникает понятная неудовлетворенность подобным беспочвенным абстрагированием.

Такой вакуум социально-исторической конкретики ощущается, например, в некоторых вещах А. Петросян, писательницы в целом интересной и одаренной. Думается, стоит заострить внимание на указанных художественных просчетах, исходя из общих сложностей развития литературного процесса, которому не хватает живого дыхания времени, современного прочтения художественных идей. Это замечаешь и листая наши литературно-художественные журналы, и новые сборники рассказов, в особенности молодых авторов.

В повести А. Петросян «Я — абрикоса цвет» уже самое начало развивающихся событий предреволюционных и революционных лет, судя по авторской заявке, обещает воплотиться в интересные судьбы простых людей одного из кварталов Конда и прежде всего судьбу героини — Зарэ. Однако мы лишь иногда, да и то по вторичным признакам ощущаем движенье времени от революции до Великой Отечественной войны (по существу, жизнь целого поколения на протяжении большого исторического периода жизни страны), ибо вся деятельная энергия и добрые начала в характере героини, как это преподносит нам автор, уходят на рождение и выращивание детей от разных мужчин, иначе говоря на избывание своего женского предназначения, да и на какую-то аморфную жалостливость по отношению к дебильному мужу и окружающим.

Увы, это не знакомая по притчам Айвазяна философски осознанная доброта, которая, несмотря на жанрово обусловленную абстрагированность повествования, как мы уже отмечали, не теряет

своего остро социального, гуманистического содержания и конкретного современного адреса. Доброта Зарэ — вне-социальное чувство существа, правда, импонирующего своей терпеливостью, отсутствием эгоизма и своскорьствия, но удручающего всеядностью, аморфностью и отсутствием каких-либо примет принадлежности своему времени, инфантильностью характера. И диву даешься, что прочтя довольно объемистую повесть до самого конца, ничего не узнаешь о том, что же происходило в жизни этого квартала, как это сказывалось на характерах, разумеется, не в виде исторической справки, а в преломлении к судьбам изображаемых лиц.

Панорамное изображение событий в свое время изжило себя, как мы уже отмечали, на путях современных поисков универсально целостной картины мира, философского прочтения судеб общества и народа в нерасторжимом единстве с судьбами личности. У отказавшихся от авторитарного повествования писателей события времени стали представлять, как исповедь героя и наоборот, исповедь жизни героя воспринимается как исповедь века, настолько полно воплощаются в ней жизненные коллизии. Это направление художественных исканий ныне разрабатывается довольно плодотворно, о чем свидетельствует и настоящий критический анализ современной прозы.

Однако проза молодых, в которой может быть отчетливей видны и творческие перспективы, и некоторые тенденции к «буксованию», да и ряд произведений более маститых наших писателей, свидетельствуют о том, что легкость про-

хождения проторенными путями всего лишь кажущаяся, что в главном — в художественном мировидении и мироотношении — нужно новое слово. Трудно рассчитывать на успех, если всего лишь повторять, а следовательно, обеднять выработанные приемы исповедальной прозы, в свое время воспринявшиеся как художественное открытие, или, скажем, мифологизировать повествование, используя уже давно известные по Айтматову приемы (вспомним образ матери-рыбы в другой повести А. Петросян «Время хороших песен»). Не стоит отступать от уже достигнутого и в угоду «глубинному» психологизму строить свой символический Дом на зыбком песке перелетов и вневременных категорий.

Хочется, чтобы предупреждение прозвучало вовремя, когда у молодых вырабатывается стиль, выверяются все его аксессуары, складывается индивидуальная художественная манера, интересная и самобытная в целом и у той же Алвард Петросян, с тонким психологизмом в лучших ее рассказах, и в густой, насыщенной прозе А. Гагрияна, и в художественном мире Вано Сирадегияна, которого читатель уже успел полюбить. Со всеми издержками роста, тем не менее, ясно, что на материке армянской современной прозы появились достойные продолжатели. Масштабность и смелость художественных идей нового поколения сейчас так красноречиво стимулируются временем новых надежд, что не ощутить и не реализовать, не воплотить в творчестве этот могучий импульс и требование времени, может оказаться непросчитанным и невосполнимым упущением современной литературы.



Виктор Голявкин

Минас

Он родился в маленьком горном селении Джаджур. Судя по тому, как он писал его на холстах, это самое живописное место на земле. Минас Аветисян окончил художественное училище в Ереване. В Ленинградскую Академию художеств пришел из Ереванского художественно-театрального института. Профессор живописи Б. В. Иогансон увидел в нем живописца, помог с переводом на живописный факультет в свою мастерскую.

Я родился в Баку в русской семье и, прежде чем добраться до Ленинграда, объездил всю Среднюю Азию: учился в художественных училищах Самарканда, Ташкента, Душанбе, не раз обошел выставки и музеи Москвы — толкала к странствиям жажда побольше узнать, увидеть, понять. Ленинградская Академия художеств со старинными художественными традициями манила глубже заглянуть в широкий мир искусства. Хотя академические мерки во многом ко мне не подходили, однако Б. В. Иогансон, посмотрев мои живописные работы, принял меня в институт им. И. Е. Репина. У меня не было даже экзаменационного рисунка. Я порвал его и выбросил в окно, потому что он мне самому не понравился.

Мы встретились с Минасом в комнате студенческого общежития на Третьей линии Васильевского острова. Этой встречи могло не быть, если бы не тонкое чутье Б. В. Иогансона, который смог увидеть в нас живописцев, как говорится, издалека.

Минас смотрел вокруг вдумчивыми, печальными глазами, а улыбался приветливо и тепло. Худощавый, но крупной, мощной кости, он был несуетлив, немногословен, если говорил, то кратко,

содержательно и остроумно. Обращал на себя внимание сдержанностью, внутренним достоинством, простотой, которые вынес из своего трудолюбивого крестьянского дома. Нам по 25—26 лет. Энергии вдоволь, способности к живописи налицо и была безудержная жажда заявить о себе в искусстве.

Искусство двадцатого века уже более пятидесяти лет бурлило вовсю и к моменту нашего прихода в Академию порядочно накопилось воззрений и методов отражения жизни. У нас впереди были годы учебы, а значит, было время во всем разобраться.

Художественные направления — импрессионизм, экспрессионизм, фовизм, кубизм, футуризм, сюрреализм, ташизм — друг за другом прокатились по миру. И каждое приносило все большую свободу в обращении с натурой, все более индивидуальные средства выражения действительности. Дело дошло до полной абстракции, когда вместо предметности картину заполняли интуитивные композиции цветовых пятен, выражающие только чувства и ощущения. Казалось, дальше уж некуда, полная свобода индивидуальности, полное абстрагирование от предмета. Но что же дальше?..

Мы обостренно чувствовали современность. Необычайно остро переживали живопись Ван-Гога как полное откровение в искусстве. Нам с Минасом нравились и лавины красочных пятен на полотнах Джэксона Поллока, родоначальника ташизма.

Абстрактный метод оказался демократичным, он годился каждому, кто хотел взять в руки кисть, окунуть ее в краску и поставить пятно на холсте или на бумаге, а потом еще пятно и еще. И полу-

чалась интуитивно живописная композиция, обязательно выражающая нутро художника. Наличие или отсутствие художественного чутья. Такое уж свойство у красок: стоит только начать орудовать ими, и ты весь как на ладони со всем своим приглядным или неприглядным внутренним обликом. Сколько людей могли попробовать себя таким способом, было бы желание!

Сальвадор Дали придумал сюрреализм. «Пылающий жираф» и «Текущие часы» были удивительны. Много разнообразных поразительных символов, мрачных и обнадеживающих, выдали сюрреалисты. Завораживающими были уже сами возможности человеческой фантазии, которую демонстрировали художники

Потом появились оптические композиции — оп-арт; бесцеремонный поп-арт.

А когда абстракции надоели, их сменил гиперреализм, или фотографический реализм: на полотне все изображается четче и подробнее, чем на фотографии, и в то же время обобщеннее, в том и отличие. Да только ли целые направления увлекают художников! Кто-то находит открытия у Модильяни. Другой — в натюрмортах Моранди, третьего увлекает Гуттузо...

Наша академическая школа абстрактных направлений не принимала. Имена русских художников 20—30-х годов, работавших в новых формах, не назывались. Их полотна содержались в подвалах музейных запасников. Правда, с трудом начинали мириться с импрессионистами, кое-что принимали у экспрессионистов, только потому, что в Эрмитаже и музее им. А. С. Пушкина были богатые коллекции французских художников. Но в основном хотели видеть в них недостатки, а не достоинства. Остальные направления особо не различались, все назывались одним словом — абстракционизм, позже появилось слово «модернизм». Порой пренебрежение до того доходило, что все слова заменялись одним выражением — «всяческие «измы».

Война и социально-политические бедствия в стране 40—50-х годов ощутимо сказались на нашем, изобразительном искусстве: у нас заметно задержалось развитие изобразительных форм. Поэтому и неудивительно, что во времена нашего ученичества споры некоторых студентов путались в рутине устаревших понятий, велись на уровне «теней». Какими цветами нужно писать тени пред-

метов? Некоторые считали, что тени надо писать по-прежнему черными или серыми, в крайнем случае коричневыми красками. А другие успели освоить тени синие или голубые. Те, кто отваживался заявлять, что тени бывают цветные и разноцветные, считались «формалистами».

Знали ли мы, какие должны быть тени на наших холстах? Знали, конечно, и смеялись над этими спорами. Живописец знает, что предметы и тени мыслятся не отдельно друг от друга, а в живописном единстве.

А тем временем абстракции заполонили мир. И время показало, что категорически отвергать никакое новое направление не стоит, бесполезно. Оно входит, несмотря на закрытые двери и живет, пока не исчерпает своих духовных возможностей, пока не сменится новым направлением и не станет историей.

Заостренные грани абстракционизма и категорическое его неприятие по сути дела были битвой за одну важную проблему мирового изобразительного искусства: как относиться к натуре.

Одни говорили:

— Лучше природы не сделаешь. Изображай, чтобы было как можно больше похоже. Чтобы вот этот стол на картине был точь-в-точь как этот стол.

Другие возражали:

— Да ведь это не что иное как подражание природе. А всякое подражание природе противно. Да ведь стол из дерева, а ты изображаешь его красками. значит уже не точь-в-точь, а условно.

Бесформенные и геометрические пятна и есть пятна, ничего больше. А где предметы, люди, лица? Как обойтись без человеческого лица в нашем человеческом искусстве, тем более что мысли и чувства художника питаются увиденным, осязаемым, а не чем-то иным, непонятым?

— Все равно конкретные предметы и лица тут ни при чем. Образ лица и предмета всегда абстрагируется от конкретного. И весь вопрос, в какой степени абстрагировать? Отсюда и разные абстрактные направления...

Возможно, в подобном споре истина была где-то посредине: картина не должна быть лишена изображения, но не должна быть и подражанием натуре. Но каждый раз, когда подходишь к холсту или к листу бумаги, возникает вопрос: как это сделать?

Может быть, истина находилась и далеко в стороне, совсем в другом измерении, и до нее еще не дошло человечество.

Все может быть.

Но нам, молодым художникам, что было делать?

Академическая школа провозглашает социалистический реализм как единственный метод, причем формулировки расплывчаты, основная формула метода «отражать жизнь народа» и предпочтительно ее положительные стороны, чтобы искусство для народа не было мрачным, а дышало оптимизмом.

Вопрос: как это сделать? — всегда остается твоим вопросом, индивидуальным. Искать эту истину надо каждому в одиночку на свой страх и риск.

Искать свое, свой индивидуальный метод. Не просто. И надо много отваги. Все новое хрупко. А старого накопилось полно, и старое может поглотить что хочешь, или просто задвигает и не хватает сил этому противостоять.

Часто мы с Минасом вместе ходили на выставки, следили за работой собратьев. Хорошее впечатление оставалось обычно от трех-четырех живописных полотен.

Ясно, что опыт, накопленный всевозможными школами и течениями, игнорировать невозможно. Ну и видишь как мировые течения не прошли бесследно для наших художников. Обязательно встретишь натюрморт или портрет «под» Сезанна. Кто-то еще переживает влияние Матисса — интерьер «под» Матисса. То вдруг странно упрощенный, облегченный «Ван-Гог». Пейзаж «под» импрессионистов. Сцена «под» Брейгеля — налицо эффект «сюр».

Когда людей толпы, массы, миллионы, миллиарды, когда для технического прогресса, обеспечивающего эти массы стандартным жизненным продуктом, привлекаются многочисленные коллективы, в которых отдельный человек теряет свое лицо и как бы стирается и тоже делается стандартным, так вопреки этой массовости и стандарту искусство может сохранить непреходящую человеческую индивидуальность. Художник может противопоставить **свою** человеческую и художественную индивидуальность, **свой цвет**.

Что это значит? А вот что. Красками, цветом можно выражать человеческие настроения, ощущения, состояния, чув-

ства: любовь, ненависть, горе, радость, отчаяние, надежду. Разумом художник организует все это на полотне, в картине создает свой мир. Чувства, мысли, мир художника и есть его художественная индивидуальность, это бесценный человеческий дар. Но свою творческую индивидуальность художник еще должен сам для себя выяснить: и самого себя понять, и в мире окружающем разобраться. Но как многим недосуг это, видишь по экспозициям и выставкам.

Вот сделаешь землю не черной, а небо не голубым, и будет нетрадиционно. Что-то новое. Вся жизнь ведь твердят: надо следовать традициям. Художник знает, что сделать новое можно только идя вразрез с традицией. Известно, какое сопротивление приходится преодолевать новому. Твои картины худсовет не пропустит на выставку. Можешь в одиночку работать как вол, писать небо и землю какими угодно, о тебе не узнают. Вот ведь какие традиции бывают, в них тоже надо разбираться.

Все это, считаю, непосредственно относилось к Минасу, потому что именно в такой атмосфере происходило формирование его выдающейся художественной личности.

Я помню случай. Мы были на последних курсах, в Академии открыли салон, выставку-продажу студенческих работ для материальной помощи молодым художникам. Сюда заходила самая разномастная публика — забегали студенты из разных вузов, заглядывали и знатоки. Народу было достаточно, и нас удивляло, как много людей, жадных до свежего взгляда, слова, голоса. Среди знатоков оказались и коллекционеры из профессоров. С одним из них мы познакомились. Он пригласил нас к себе домой. Мы знали: коллекционер — человек деловой, осторожный, у молодого художника он в лучшем случае купит этюд с натуры или ординарную картину, оригинальность поймут не скоро. Мы пощадили коллекционера и не собирались нести ему нечто оригинальное. Минас отобрал «Армянский базар» — просвеченный солнцем и очень живописный — с разноцветной толпой, осликами. А я нес «Море, песок и лодки». Одно время это был любимый мотив: зеленое море, оранжевый песок и красно-коричневые лодки.

Стены в квартире коллекционера

сплошь завешены картинами. Он показывает свою коллекцию и говорит:

— Я, как видите, покупаю художников начал века. Молодых не покупаю.

И я думаю: он говорит это к тому, чтобы нам стал ясен знаменательный переломный момент в его жизни, свидетелем которого мы сейчас будем. С сегодняшнего дня он начнет покупать молодых художников. С нас начнет.

А он продолжает.

— Вчера я купил одного художника. — И он подводит нас к новому приобретению. Мне картина не нравится, и я говорю:

— Ну и что?

— Потратился, — говорит коллекционер. — Вы меня извините, денег нет. — Как обухом по голове нас огрел. А приглашал зачем?! Я был разъярен, не мог больше рядом с ним находиться, это могло плохо кончиться, и вышел в кухню. Там я спросил у мальчика, его сына или внука, нож.

— Какой нож? Зачем? — что-то заподозрил мальчик.

— Есть у вас острый нож, в конце концов?!

Мальчик не выдержал моего напора, достал из кухонного стола нож и подал мне.

Я ухватил нож крепче и с треском полоснул им по своей любимой картине, еще и еще. Мальчик раскрыл глаза и смотрел испуганно.

Я бросил в кухне картину, положил на стол нож и сказал подросшему на треск разрезаемого холста профессору:

— Потрудитесь теперь склеить холст, пусть он останется на память в вашей коллекции.

— А! Что такое? Что вы сделали? Зачем? — профессор схватился за голову, мальчик поднес ему воды.

Минас со своей картиной в руке спокойно стоял и смотрел.

Мы вышли, страшно ругаясь, особенно ругался я.

— За кого он нас принимает! Он думает, мы зря ехали к нему через весь город? Почему он поступает с нами бесцеремонно?.. А ты что стоял? Картину свою держал? Не хотел портить отношения с коллекционером?

— Мне жалко резать картину, Витя, — спокойно сказал Минас. Он всегда был внешне спокоен. Такой у него был характер. Не то, что у меня.

Мы пошли пешком вдоль трамвайной

линии. Денег у нас не хватало даже на трамвай. Настроенные были скверные. Я ругал профессора на чем свет стоит, сердился на коллекционеров.

А Минас спокойно с ними дружбу водил. Дружил с Тахтаджяном, у профессора-физика Гросса, говорят, осталось тридцать—сорок Минасовых картин.

Это был случай. Но в основном понятно: какой бы ни был у тебя вспыльчивый характер, этим ничего не докажешь, и уничтожение картин вряд ли поможет делу. Я с чувством юмора относился к несообразностям и разным преградам, которые ждут художника на пути. Внутренние несоответствия и разные жизненные ситуации выливались у меня в юмористические рассказы. Это давало выход неудовлетворенности. С годами я все более отходил от живописи в свои рассказы.

У Минаса был другой характер, он стоял на своем и собирался к себе на родину, в Армению. Он безошибочно знал, что жить можно где угодно, где хочешь, но **надо жить дома**.

У меня с домом обстояло по-другому. Я приехал из Азербайджана, по рождению и воспитанию русский, и вроде бы в Ленинград приехал к своим соотечественникам. В этом прохладном городе сдержанно принималась моя открытость, и мало я приобрел единомышленников. Мои немногочисленные товарищи по искусству к тому же вскоре стали разъезжаться. Но для развития таланта художника обязательно нужна среда, иначе его движение может застопориться.

В Армению как раз в то время возвращались рассеянные по всему свету резней 1915 года репатрианты, и много интересных художников прибыло из-за рубежа на родину своих предков. Кроме того, великолепный живописец М. Сарьян смело работал в армянской живописи уже более полувека. Художественная среда там могла оказаться весьма плодотворной.

Однако Минас не сразу поехал домой. Видимо, хотелось ему возвратиться туда уже сложившимся живописцем, но для этого еще надо было поработать над собой.

После окончания Академии в общезжитии оставаться было нельзя. В Ленинграде жить стало нелегко.

Мне удалось тогда снять дом поблизости от Ленинграда, в поселке Лисий Нос на Новоцентральной улице, 9. А

Минас снял на зиму дом недалеко от меня на улице Дмитриевской.

Зимой в Лисьем Носе приходилось оттапываться от снега, дровами растапливать печку для обогрева дома, готовить еду на плите или керосинке, доставать воду из обледенелого колодца. Зато здесь можно было остаться наедине со своим холстом. Неоценимое преимущество.

Усталыми от напряжения глазами видеть ослепительно чистый снег, который вмещает в себя всю гамму природных красок и редко бывает белым на холсте у художника.

Мы уже не студенты, и цели у нас теперь другие: не натуру отразить, а оттолкнуться от натуры и посредством композиции, цвета, пятна попытаться выразить себя.

В тиши пустого заснеженного дома Минас работал все время. Что он думал при этом, не знает никто.

Он очень уставал за день, к вечеру заходил за мной, и мы прогуливались к заливу. Однажды, очень усталый, он принес показать мне три новых холста, которыми, видимо, сам был доволен. Два из них были пейзажи, отдаленное подобие многих его армянских двориков, написанные красным, желтым, синим, зеленым в очень обобщенной манере, у него еще небывалой. Среди здешней зимы на холстах проступало армянское лето. Третий холст — сидящая девушка в красном, с черными волосами на светло-зеленом фоне, оперлась подбородком на сложенные руки, с сосредоточенным взглядом. Лицо, руки, волосы — все очень конкретно. Все ясно, чисто, нравственно, таинственно, прекрасно.

Еще в городе у него было написано несколько холстов, помню: две женщины склонились над ручными жерновами и женский портрет. Там он пробовал другую гамму — желтый, коричневый, синий, черный. Изображения обводил жирной черной линией для большей четкости и выразительности.

На новых холстах и гамма была другая и черной обводки не было. Четкости он здесь добивался не графической линией, неорганичность которой, видимо, чувствовал, а контрастностью цветовых сочетаний. Свои краски нашел и подчеркивать выразительность графической линией ему уже не требовалось. Это было живописнее; и я сказал ему об этом, как бы подтвердил его находки. Эти

холсты для него тогда многое значили: кое-что выкристаллизовалось, **нашел, начал**, а дальше **пойдет**. Дальнейшее показало, что так оно и стало.

А тогда Минас облегченно вздохнул, как после непомерно трудной работы. И в последующие дни чаще заходил за мной прогуляться, мог себе позволить, ему будто вольнее дышалось.

Скоро к нему из Ленинграда приехали хозяева проведать, в порядке ли дом. И остались недовольны квартирантом. Из их большой комнаты он все как есть вынес в меньшие и поставил в ней посередине мольберт. А вокруг — банки с краской, тюбики, кисти, бутылки с разбавителями, тряпки в красках, холсты наставлены — ни пройти, ни проехать. Про холсты на деревянных подрамниках, повернутые к стене, они сразу так и спросили: «А это что за дрова?» И указали, между прочим, что многовато он тут сжег заготовленных дров. В общем, неудобным оказался хозяевам собственный дом.

После этого визита Минас должен был съехать из Лисьеносовского дома. Он подрядил случайную машину для перевозки холстов.

Я провожал его. На память он оставил мне женский портрет, обведенный черным, о котором я уже говорил.

Казалось, уезжал без сожаления, потому что провел время не зря: здесь полным ходом шло становление художника. Обстоятельства подгоняли домой.

Через несколько лет Минас вновь появился в Ленинграде и подарил мне журнальную репродукцию той Лисьеносовской «девушки» с надписью: «Моему другу Виктору Голявкину. Минас А. 28.4.63 г.»

В конце шестидесятых я ездил в Армению с группой писателей. Был и у Минаса. В мастерской его в то время было много очень хороших работ. Минас познакомил нас с известным скульптором Ервандом Кочаром, автором преросходного памятника Давиду Сасунскому на вокзальной площади Еревана. Шестидесятилетний Кочар, энергичный, экспансивный человек, делал абстрактные композиции, конструкции с выпуклыми и вогнутыми поверхностями, и называл это объемной живописью.

Ходили мы с Минасом и к патриарху армянской живописи Мартиросу Сарьяну. Он величественно сидел в своей мастерской в рабочем, вымазанном красками

ми халатё, и показывал свежий портрет Д. Стейнбека, говорил, что написал его за два сеанса. Минаса Сарьян очень уважал. Я представляю, как старый мастер с великой печалью в голосе мог говорить Минасу теперь уже известные слова: «Где ты был до сих пор? Почему ты пришел так поздно?..»

Когда Сарьян спросил, нет ли у нас к нему каких-нибудь просьб, я, помню, сказал ему: «Помогите Минасу с устройством персональной выставки». Я видел: Минасу с этим тогда было нелегко.

Настроение у нас было оптимистичным, работа наша шла полным ходом. Я писал тогда детские юмористические рассказы и приставал к Минасу, чтобы он рассказал какие-нибудь случаи из детства. И он много рассказывал, я записывал и еще просил:

— Ну вспомни, вспомни.

— Я не помню больше, Витя, — сказал наконец Минас.

В октябре 1972-го Минас приезжал в Ленинград, привез мою книгу повестей и рассказов на армянском языке и оставил на память несколько журнальных репродукций своих живописных работ, которые сгорели при пожаре в его мастерской. Рассказывал про пожар. Ему не везло. Но он по-прежнему был собран, аскетичен и целеустремлен и потому необычайно красив.

А в феврале 1975-го меня ошеломили вестью: Минас погиб.

Две его ранние, еще 60-го года, работы — «Женский портрет» и этюд на картоне «Камни Армении», — подаренные на память, постоянно перед моими глазами.

Теперь хожу ли я по выставке его картин, листаю ли альбом репродукций, вглядываюсь в его разноцветные горячие краски на полотнах, преисполняюсь любовью, дивлюсь непомерному темпераменту художника. И чувства подсказывают мне: если величие художника взвешивается на весах сравнений, то открытости и накалу его красок, выплеснутых на холсты, я не нахожу равного противовеса.

Об искусстве Минаса уже сказано немало восторженных и верных слов. Товарищи воздают ему должное. Но лично мне мало всего написанного и сказанного о нем. Потому я пишу снова.

Да, он художник армянский, национальный, воспел Армению.

Но живописность живописи он явил мировому искусству.

Он сделал самое главное — живопись.

И тем самым как бы просветил многих художников в их различных мировоззренческих скитаниях. В этом давно нуждается не столько армянская национальная традиция, сколько искусство других стран и континентов.

Всего лишь за полтора десятилетия он легко и просто решил много трудно-разрешимых проблем. Во-первых, проблеме традиций. Всякого художника традиции питают и вдохновляют. И Минас не в пустыне возрос. Только упираться в одну, раз навсегда избранную для себя традицию, потому что тебе ее провозглашают, все равно что всем толпиться на одной узкой тропке, вместо того чтобы рядом проложить новые дороги.

Его живопись правомерно связывают со старинной армянской миниатюрой и непременно с творчеством М. Сарьяна. Но я вижу, что он проработал в себе многие мировые художественные школы. Не для того, чтобы стать рабом традиций, а наоборот, овладеть ими настолько, чтобы вовсе освободиться от их влияния. Французские импрессионисты и постимпрессионисты расковывали его художественное сознание. Я вижу, что Матисс представлялся ему недостаточно «звучным», хотя всеми своими средствами именно к звучности цвета он стремился. В конце концов Минас добился того, что самые контрастные цвета (скажем, чистый красный рядом с чистейшим синим) у него смотрятся сверхживописно. И композицию он строит на сочетаниях цветовых пятен, добиваясь порой поразительной гармонии, то есть впечатления такой цельности и завершенности на холсте, что, кажется, нет никаких недостатков. В игре цветов истинный праздник для глаза. Чистое живописное искусство.

Все мировое искусство помогало ему расти. Но когда вырос, он уже стал сам по себе, ни на кого не похож, абсолютен.

Завидно легко и бесхитростно справился он с проблемой народности и патриотизма — просто поехал на родину и писал отца, мать, самого себя, милых родных и знакомых людей, домашние пейзажи, незатейливые обиходные предметы, окружающие горы, деревья, дома, улицы, дворы.

Чтобы воплотить идею, ему не понадобилось отрываться от реальности, слишком абстрагироваться от природы. Он полностью овладел натурой и умел поднять ее в облаке своей фантазии.

Люди, дома, горы обласканы любовным взглядом, написаны на холстах с такою силой страсти, будто он прислонил к холсту свое сердце без посредства руки и кисти. В работах виден огромный внутренний темперамент внешне всегда спокойного, сдержанного Минаса.

Он свободно творил чистыми, яркими красками композицию и легко передавал и психологические состояния портретируемых, и свое настроение и состояние духа. Во всем удивительная простота и высокая нравственность, и огненная страсть художника.

Удивительно, как удалось ему прийти к такой редкой простоте? Оказывается, можно жить у себя дома, ходить коротким прямым путем в свою мастерскую, прилежно заниматься красками и разрешить сразу много проблем, добившись гармонии на полотне. На уровне подвига эта его гармония и простота в нашем тревожном запутанном мире.

На поле брани, совершив подвиг, уцелеть можно только случайно. Но, говорят, лучше быть живым человеком, чем мертвым героем. Тут художник совершает подвиг в самые мирные дни в мирной работе, не на поле брани, но все равно это стоит ему жизни. В чем причина обреченности?

Минас предчувствовал гибель и написал свою смерть на холсте. И картина эта уже не в той жаркой пылающей гамме, которую он любил, а в холодных тонах. Прозрение потрясает душу. Судьба его вызывает сложные неразрешимые раздумья: понятия «художник — подвиг — смерть» стоят рядом. Минас не пил, не курил, не тратил себя на пороки — нельзя сказать, что он сам себя сжег. Его целиком захватывала живопись.

Что за силы окружают художника, который всего лишь пишет свою живопись? Разве теперь ответишь на этот вопрос. Может быть, судьба подлинного художника вмещает в себя столько тайны, что все мировые приключения не стоят ее и не идут с ней ни в какое сравнение. Ни с чем не сравнимые страдания живописца — от чего они?

Разобраться конкретно, может, нельзя, последние годы я с ним редко встре-

чался, и жили мы в разных концах света: я в Ленинграде, он — в Ереване, но сделать некоторые предположения все-таки можно.

Я знаю крайне обостренные психологические состояния, которым бывают подвержены художники. И понятны они могут быть только художникам.

В шестидесятые-семидесятые годы, очевидно, Минас очень много работал. Живописные холсты этого периода настолько цельны, полны такой силы эмоциональной отдачи, что трудно представить себе человека подобной страсти и темперамента. Это его собственная страсть, его кровь, плоть и мозг вышли из рук совершенным искусством. По картинам видно: он понимал и чувствовал это, в работе познал, чего это стоит.

Взгляд работающего художника необычайно сосредоточен, остр, натренирован постоянной тончайшей живописной работой; всепроникающ. Теперь есть подходящее выражение из профессионального обихода — экстремальная ситуация. Когда у художника обострены все чувства и мысли, в окружающем он улавливает в сто раз больше, чем способен уловить любой рядовой нехудожник.

Стоит отвлечься от всепоглощающей работы, оглянуться вокруг, и сразу видишь много всяческого несовершенства. Тут для художника возникает новая проблема: где же мера и справедливость дел и вещей?

Нет такой меры.

Вступать в борьбу с несовершенством не в его духе. Ведь художник не зол, он не презирает, не ненавидит, а **любит** родину, людей, свой край, предметы, которые изображает.

Он не карикатурист, чтобы высмеивать недостатки. Он живописец, выражающий свою любовь в ярких, чистых, бархатистых красках. Краски — его чувства. От любви у него радостное мироощущение. У Минаса по сути дела нет мрачных картин. В любое сочетание он вносит пятно, которое освещает всю композицию мягким радостным светом.

Он щедр по натуре и мудр душой и умом, он ладит с окружающим миром, а несовершенство прощает.

Но несовершенства в нашем мире предостаточно, и для прощения может не хватить человеческих сил, а художник уж и так многое из себя вложил в свои краски, он ведь живет без дотаций. Может

быть; от этого глубокая печаль в глазах Минаса на его фотографиях?

Страдание, порожденное внутренними столкновениями художника с миром, может быть, велико, и если оно его все же не сдолбает, то неудивительно, что на следующем холсте художник напишет собственное распятие. Боль отдаст краскам и посредством красок поведаст о ней миру. Разве не о том картина «Посвящение матери» (1969. Холст, масло. 150x130. Погибла при пожаре).

Погибла при пожаре... За что такая жестокость? Ведь он оставил много красоты своим соотечественникам. Красиво и убедительно написал их лица, сильным чувством и поэзией осветил их горы, деревья, дома. Цельно, пластично и уважительно написал их руки. Он умел по-своему писать руки. По тому, как художник пишет руки, всегда можно понять меру его таланта. Однажды приезжему поэту Армения показалась окрашенной «охрою хриплой», «лазурь да глина, глина да лазурь». Красным, синим, зеленым, желтым окрасил Минас небо, горы, дома, окна и тесные армянские дворики. У него был воистину драгоценный глаз.

Он вернул живописи цвет, очистил ее от инородных напластований. Выра-

зил себя как человека мощного вдохновения и великого чувства любви к миру, родине, людям. Его полотна — богатый кладень чувств. Из этого источника могут черпать долго, если захотят и сумеют. Кроме того, яркое дарование всегда светит людям в тусклой будничной череде, дает силы преодолеть ее и выйти на свет к солнцу.

Казалось бы, хвала и честь художнику. Но сорокасемилетний Минас после гибели своих картин предчувствует собственную гибель и пишет на холсте свою смерть.

Поразительно остро он ощущает грань между жизнью и смертью, будто стоит на самом острие, где сходятся свет и тень.

Мне не дано было стать свидетелем трагедии, происшедшей в 1975 году в Ереване. Но если писатель живет в своих книгах, то художник в холстах, и я внимательно взглядываюсь в фигуры и лица на картинах Минаса. Теперь любовью штрих, сделанный его рукой, бесценен, потому что добавляет мазок в творческий облик художника, становится пунктиром его неповторимого творческого пути.



Ирина Золотова

И СНОВА «ПУТЕШЕСТВИЕ В АРЗРУМ»

Давно известно, что не только художники, но и их творения имеют свою судьбу. И порой складывается она весьма замысловато. Впрочем, в отношении оперы Эдгара Оганесяна «Путешествие в Арзрум» поначалу все обстояло на редкость благополучно. Композитор завершил оперу в 1978 году, и она тотчас же была принята к постановке в Государственном ордене Ленина академическом театре оперы и балета имени Спендиарова. Оставалось дожидаться премьеры... Жизнь, однако, распорядилась по-иному: здание театра вскоре закрылось на реконструкцию. Композитор же, вернувшись к своему детищу несколько лет спустя, принял решение, немало удивившее его коллег и друзей, — сочинение следует писать заново!.. Таким образом, опера «Путешествие в Арзрум» получила второе рождение (в окончательный вариант вошла музыка всего лишь двух эпизодов первой версии).

Такая предыстория наводит на размышления. О Времени, которое неустанно ревизует, испытывает на прочность все сделанное ранее. О высокой требовательности художника, сумевшего отказать от уже законченной работы. Об увлеченности темой, побудившей его ко «второму штурму». И, наконец, о сложности вставших перед композитором творческих задач.

Признаюсь честно: выбор пушкинского «Путешествия в Арзрум» в качестве сюжетной основы для оперы поначалу вызвал (и, наверно, не у меня одной) чувство недоумения. Непосредственность и живость пушкинских заметок, отточенность и глубина его прозы, а главное — избранный поэтом тон доверительной, неспешной беседы (с теми, кто поймет с полуслова), казалось, не могут не «потеряться» в патетике оперного вокала, многозвучии оркестровых

голосов. С другой стороны, отсутствие в «Путешествии...» собственно сюжета, открытых конфликтов (естественно, за исключением военных), ярких женских персонажей — серьезные препятствия на пути создания динамичного музыкального действия, вне которого трудно представить себе подлинный Театр.

Недавно состоявшаяся премьера разрешила возникшие сомнения. Ереванским любителям музыки был подарен драматичный и увлекательный музыкальный спектакль, ход которого держал слушателей в напряженном и постоянном внимании.

Авторы либретто (оно написано Г. Ансимовым, редакция Э. Оганесяна) ввели в оперу немало сцен и персонажей, следа которых не удастся обнаружить на страницах знаменитого путевого дневника. Приезд Пушкина в Арзрум и сопутствовавшие тому обстоятельства стали для авторов оперы своеобразным драматургическим центром, где, как в фокусе, неожиданно сплелись нити судеб великих сынов России (Пушкина и Грибоедова) и многострадального народа Армении, высветилась непримиримость столкновения свободомыслия с конформизмом и деспотией, благородства с расчетливой закулисной игрой.

— Как ни странно, — признается Э. Оганесян, — вначале «эпицентром» «Путешествия в Арзрум» явилась для меня сцена обращения к русским войскам фельдмаршала графа Паскевича-Эриванского, его приказ штурмовать Арзрум (один из центров исторической Армении, в то время захваченный турками, и, кстати, — родина моих прямых предков)... Причем, сцена, описанная не просто летописцем-очевидцем, а великим Пушкиным!

Русско-армянские связи имеют тысячелетнюю историю; Армения еще в бытность свою сильным и самостоятельным государством, и не имевшая тогда недостатка не только в противниках, но и в друзьях, активно налаживала контакты с Суздальской и Киевской Русью. В более поздние времена, уже ослабленная и обескровленная, Армения тянулась к России в еще большей степени, а эпоха Петра Первого положила начало государственному интересу России к армянской нации. Чаянна нашего народа получили конкретное воплощение в 1828—29 годы, то есть именно в период, описываемый Пушкиным. В этих же путевых заметках есть несколько весьма ценных для нас отзывов об Армении, «прекрасной земле, коей плодородие вошло на Востоке в пословицу», а также страницы, повествующие о встрече с гробом Грибоедова, сыгравшего немалую роль в репатриации армян из Персии, есть прекрасное высказывание Пушкина о Грибоедове — «...все в нем было необыкновенно привлекательно...» И для меня, для создания музыки многое было необыкновенно привлекательно — от скорбных песнопений армян в связи с гибелью Грибоедова, до национально-освободительной борьбы, свидетелем которой стал Пушкин...

Избранный ракурс определял своеобразную драматургию спектакля. Фактически, события, «реально» происходящие на сцене — это встреча Пушкина с Паскевичем после штурма Арзрума и последующий его отъезд. Основное же действие оперы соткано из воспоминаний и раздумий поэта, и слушатель оказывается вовлечен в стремительное течение сменяющих друг друга ассоциаций. Если бы этим исчерпывался драматургический замысел новой работы, нам оставалось бы отметить: характерность персонажей, глубина переживаемых ими эмоциональных состояний компенсировали отсутствие сюжета, а картина напряженной жизни человеческого духа оказалась не менее драматичной, чем привычные для нас в оперном жанре сплетения интриг.

Но есть в сочинении Э. Оганесяна (и это прекрасно сумел вылить режиссер-постановщик спектакля Ваагн Багратуни) еще один драматургический пласт, который вызревал в спектакле медленно,

предспудно и заявил о себе в полный голос лишь в последней картине третьего действия. Пласт этот образуют все более настойчивые, как бы по кругу, «возвращения» отдельных эпизодов и фраз (вспомним реплику Грибоедова «Дело дойдет до ножей», встречу на Бзовдальском перевале и др.).

Менее всего это обычные повторы-репризы, придающие форме законченность и гармоничность. Нельзя отнестись эти «блуждающие» реплики и к разряду лейтмотивов (которые, кстати, тоже имеются в партитуре). Возвращаясь к нам после эпизодов, безжалостно высвечивающих потаенный смысл происходящего (в опере использованы и обнародованные позднее, неизвестные Пушкину материалы), эти реплики в течение спектакля насыщаются все более глубоким подтекстом, обретают новый масштаб. Они-то и подводят развитие действия к неожиданному финалу. Знакомый слушателю по прологу эпизод с Паскевичем предстает здесь в корне преображенным: скрытый подтекст поднят на поверхность. И проводы Пушкина, вызывая в памяти сцену оплакивания Грибоедова, звучат предвидением его грядущей судьбы...

Нельзя не отметить в партитуре оперы и гибкое единение эпики и лиризма, и тягу к сопряжению разнообразных стилистических тенденций (язык оперы питают живительные токи армянской крестьянской песни, торжественность средневековых песнопений, певучесть интонаций русского романа, ироничность и экспрессия современного языка), и опыты синтеза различных искусств. Отказ от внешней героики, углубление лирико-психологического начала, обостренный интерес к нравственным вопросам привели к рождению новой драматургической концепции.

— Уже высказывались суждения, что двуязычность сюжета и, как следствие, «двуязычность» музыкального материала создавали для автора определенные трудности, — замечает композитор. — Но русская музыка в ее лучших образцах давным-давно нам настолько близка, что не было надобности что-то преодолевать. Проблема оказалась в другом: говорить ли музыкальным языком эпохи Пушкина и Грибоедова, или пойти по пути музыки двадцатого века. Думаю, что нужен был поиск «золотой се-

редины», а такое удается только при условии максимальной естественности чувствования и выражения. Естественность же русской интонации в этом сплыве должна была бы так же естественно привести к единству с армянской, мне так думается. Но, повторяю, никакого расчета, никакой заданности не было, — лишь стремление к предельной искренности... Не так давно я играл музыку моей оперы одному из давних друзей-москвичей, многоопытному музыканту с богатейшим слуховым «запасом». Он поздравил меня с тем, что даже в русских сценах оперы я остаюсь верным своему почерку и армянской национальной традиции. Так что, видите, какие разные могут быть восприятия!..

Композитор не стремится к внешним оркестровым эффектам: при всем богатстве и разнообразии использованных приемов инструментальное письмо оперы весьма экономно. Более того, можно сказать, что оркестр Оганесяна здесь (как, впрочем, и в других его театральных и сугубо инструментальных работах) подчеркнуто «антиимпрессионистичен». Это оркестр напряженной экспрессии и скупого жеста.

В вокальных партиях, напротив, властвует распев. Между тем, поклонники традиционного оперного вокала не найдут в этом произведении ставших при вычпыми эмоциональной приподнятости и пафоса. Выразительность мелодики определяют здесь острая характерность точно выверенных (и оттого мгновенно отчеркивающихся в памяти!) ритмоинтонаций, тонкая разработка психологического подтекста.

И все же лучшие, кульминационные страницы оперы — это хоры. Выросшие из подлинных народных песен или же написанные на оригинальном авторском материале, они образуют некое стилистическое единство, выступают высшими точками осмысления ведущих тематических идей оперы. Напомним суровую торжественность мужского унисона (своеобразную заставку оперы), задумчивость и печаль песни «Река Аракс помельчала», скорбное отпевание Грибоедова и, наконец, сцену прощания с Пушкиным, где финальный хор звучит с такой внутренней силой, что оказывается в состоянии преодолеть тяжесть предчувствия гибели поэта, подвести к прозрению смысла человеческого бытия.

Однако вернемся к спектаклю. Он увлекает своей энергией, щедростью отдачи и определенностью постановочных решений (здесь немалая заслуга не только В. Баграгуни, но и художника Н. Гриневича, художника по свету Э. Карапетяна, хореографа М. Мартиросяна). В эмоциональной атмосфере спектакля ощутимы ритмы и настроения нашего беспокойного, насыщенного ожиданием и тревогой времени с его несовпадением видимости и реальности, трагическим противоречием между «кажется» и «есть».

В новой опере много действующих лиц. И труппа Ереванского оперного театра (точнее, ее «молодой состав»; возраст большинства участников не достигает сорока) раскрылась в нем, как красочный веер. Хочется отметить особо исполнителя партии Грибоедова К. Симоняна, и вокальное мастерство, и сценический рисунок роли отличались тщательностью разработки и большой актерской культурой. Чрезвычайно сложная партия Пушкина (в первом представлении — Р. Папикян, во втором — Г. Арсенян) поставила перед исполнителями немало задач, которые, к чести артистов, во многом удалось разрешить (но Г. Арсеняну, как, впрочем, и большинству участников второго состава, предстоит еще многое сделать). Надолго запомнятся ереванским любителям музыки официозный, высокомерный Бенкендорф — В. Арутюнов (в трактовке М. Овакимяна генерал предстал иным: более чванливым и лицемерным), надменный, двоедушный Паскевич (Б. Туманян), одухотворенная Нина — А. Папян и ослепительная Натали — А. Мансурян (исполнительницы второго состава — А. Ацагорцян и Р. Оджаян). И, конечно, увлеченность и самоотдача музыкального руководителя и дирижера спектакля А. Восканяна, объединившего в эти вечера в творческое целое не только солистов, артистов хора, балета и мимического ансамбля, но и участников Ереванского духового оркестра и хора им. А. Тер-Оганесяна.

— Я думаю, что роль Аюопа Восканяна в данном спектакле выходит далеко за пределы роли просто музыкального руководителя и дирижера, к стати, отличного. Восканян от начала работы и до конца был душою рождающегося спектакля. Более того, учитывая неподготовленность наших певцов к современ-

ному музыкальному языку, можно сказать, что А. Восканяну выпала доля во многом их буквально переучивать. И отраднo, что вокалисты, воспитанные на совсем иных традициях, превзошли самих себя и теперь от спектакля к спектаклю все более раскрываются и сценически и музыкально. Опыт «Арзрума» показывает, что композиторы Армении уже имеют подготовленное к исполнению современной музыки поколение певцов и смело могут браться за создание новых опер, лишь бы произведения попадали в руки таких мастеров и энтузиастов, как Восканян.

Многие отмечают талантливую работу В. Багратуни — здесь и присущий ему динамизм, и масштабность, и умение дать четкую, осмысленную задачу актеру. А мне особенно дорого то, что Багратуни ставил спектакль, что называется, «по музыке», а не «поперек музыки». И вообще оперный режиссер, умеющий взволновать зрительный зал — это большая редкость в наше время.

Но о некоторых моментах постановки, полагаю, стоит и поспорить. Меня, признаюсь, озадачило появление Пушкина на бале в камер-юнкерском мундире: как известно, чин этот был пожалован ему лишь пять лет спустя — в 1834 году (как выразился сам поэт, двор хотел, «чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове»). Может, стоит пересмотреть детали ряда мизансцен: так, не сколько нарочитым показалось, что Грибоедов, едва ли не при каждом своем появлении, не выпускает из рук Туркменчайский трактат, да еще показывает его, а потом и отдает в руки (государственный договор!) армянским крестьянам...

— Почему А. С. Пушкин, столь великий, столь и независимый, в моей опере вдруг оказался одетым в ненавистный ему мундир? Это сделано созна-

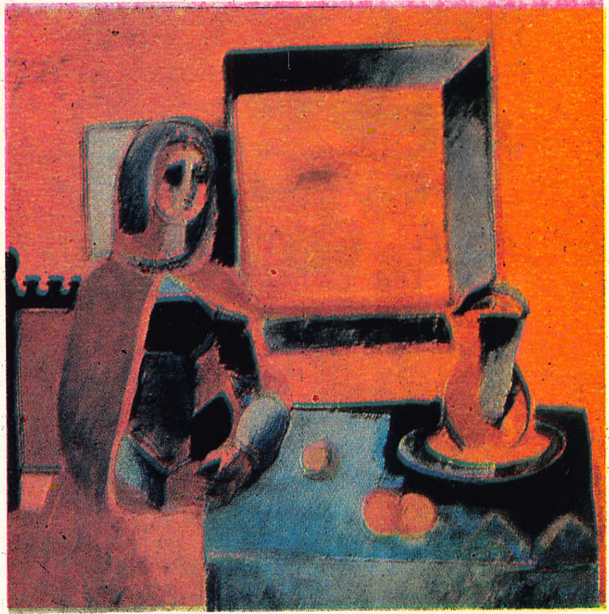
тельно. Ведь опера — это театр, а театр требует театрального костюма, желательно красочного. Но не это было определяющей причиной, а то, что в экспозиции оперы, в картине «Петербург», хотелось представить и Пушкина, и Грибоедова — двух великих поэтов — неотъемлемой частью российской государственности, представить их накрепко связанными с другими действующими лицами — тоже в мундирах. Сразу же в следующей картине («Кавказ») Пушкин уже раскрепощен, мундир оказывается сменен на цивильный традиционный плащ, и так до конца спектакля. Грибоедов же, напротив, именно в парадном мундире русского посланника мужественно встречает свою гибель. Таким образом, «мундирам» как бы отведена драматургическая роль. Ну, а убеждает это или нет, судить об этом зрителям и критикам.

Спорные моменты не отнимают ощущения удачи, как не умаляют его и отдельные исполнительские накладки, — горячий прием спектакля ереванским слушателем тому порукой. Премьера «Путешествия в Арзрум» стала событием воистину долгожданным. Ибо афиши Ереванского оперного театра давно удручали скудостью оперного репертуара, отсутствием в нем современных советских и зарубежных композиторских работ. И поэтому, думается, праздничное оживление публики на последней премьере, вспыхивающие в ложах и фойе дискуссии (давно забытая картина!) говорили не только о конкретном успехе композитора, постановщика и труппы, но и о давно лелеемых надеждах на возрождение нашего театра, обновление его выразительной палитры и, разумеется — появление на сцене новых армянских опер. Надеждах, которые, похоже, начинают сбываться...

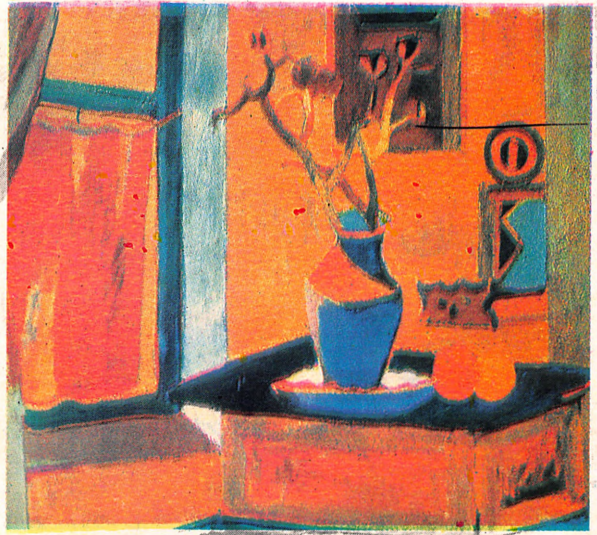


**Контрольный корректор
Р. ШУХЯН**

Адрес редакции: 375019, Ереван, пр. Маршала Баграмяна, 3.
Тел. 56-35-57, 56-36-66, 56-35-58. Типография издательства ЦК
КП Армении, 375023, Ереван, пр. Орджоникидзе, 2. Сдано в
набор 04.05.1988. Объем 7 п. л. Подписано к печати 19.07.1988.
Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9,6 усл. п. л. ВФ 08606. Тираж 6500.
Заказ 898.



М и н а с. Девушка с книгой.



М и н а с. Армянский натюрморт.

Главный редактор

АЛЬБЕРТ НАЛБАНДЯН

Редакционная коллегия:

**АРАМ ГРИГОРЯН СЕРГЕЙ ДАРОНЯН АРУТЮН КАРАПЕТАН
РЕГИНА КАФРИЭЛЯНЦ ЛЕВОН МКРТЧЯН ВАЗГЕН МНАЦАКАНЯН
МИХАИЛ ОВЧИННИКОВ КОНСТАНТИН СЕРЕБРЯКОВ
КАРЭН СИМОНЯН ГЕОРГИЙ ТАТОСЯН АРУТЮН ФЕЛЕКЯН
ГЕВОРГ ЭМИН**

Заместитель главного редактора

СЕРГЕЙ МУРАДЯН

Ответственный секретарь

ЛУИЗА КИРАКОСЯН